

СТАНИСЛАВ МИШНЕВ

СВЯТАЯ ПРОСТОТА



Станислав Мишнев

Святая простота

Тарногский городок
2015 г.

УДК

ББК 84(2РУС – 4ВОЛ)6

М71

Мишинев С.М.

М71 Святая простота. / Станислав Мишинев. – с. Святая простота: Б-Принт 2015. – 168 с.

ISBN 978-5-88459-024-3

Сборник рассказов писателя Станислава Мишнева с иронией описывает различные истории и ситуации из нашей жизни.

ББК 84(2РУС – 4ВОЛ)6

ISBN 978-5-88459-024-3

© Мишинев С., 2015
© Оформление. ООО «Б-Принт», 2015

Вчера холодный ветер дул с ярой силой, с рёвом и свистом пробегал по деревне, забивался в ворота, завывал вокруг домов, сотрясал крыши и карнизы. Погода всегда имеет сильное влияние на человека, человеку становится зябко и грустно, сердце как сжимается, на ум приходят забытые горести, невыразимая тоска ползёт по телу. Вчера у Поповых свежевали свинью. Соседка, несчастнейшая, вечно пасмурная, косоглазая Ивея Исполишина с заметным упрямством мёрзла на своём ветхом крыльце с двумя пачками туалетной бумаги в руках, смотрела за разделкой туши, и вздыхала. Она верталась домой, ходила у приезжей торговки красным товаром выбирать кофту. Яркой рябиной метались в глаза платки, и сизые, и с разводами, и мухояровые, и цветом вошедшего в силу огурца, кофты заморские сами соскакивали с плечиков, трусики, лифчики, штанишки всякие... Весь товар перешупала, перемеряла, остановилась на туалетной бумаге, на большее не хватило денег.

Долговязый Иван Попов предложил соседке взять свиную голову.

— Обдирать не охота, — объяснил своё решение.

Ивея задрожала всем телом, какая-то судорога пробежала по её лицу, на глаза навернулись слёзы.

— Мы... мы куски не собираем, — с холодным вызовом ответила Ивея. Осердился сосед, обложил Ивею во все бока густым матом.

Сегодня Ивея очень сожалела, что напрасно оскорбила Ивана Попова. Будь она рачительной хозяйкой, мяса бы им с Платоном хватило на месяц, да жаль, уродилась драчливая характером. Потом, ей было очень обидно на всех с краю: и на торговку, и на долгую зиму, и на хозяйственных людей, что каждый день варят наваристые щи. У хозяйственных каждый день праздник, а в хозяйстве Исполишиных хорошо плодятся одни тараканы.

На завтрак первым блюдом шла каша — размазня. Вторым — «зубатка», — это вовсе не жареная большими кусками рыба, это обязательное наставление в дальнюю дорогу. Ивея снаряжала в «район» своего мужа Платона. Сегодня она не раздувалась как мышь на крупу, лицо её светилось добродушием, хорошим настроением, ожиданием. Эта воинственная валькирия для пущего усвоения подносила кулак под самый нос чуть вздрагивающего муженька, дескать, идёшь ты не в лавку, гусь лапчатый, под запись просить у продавщицы четвертинку, идёшь на врачебную комиссию, что ВТЭК-ой зовётся; в комиссии заседают люди

серъёзные, рожи протокольные, ты языком не ограбай с огня и с лесу, в носу не ковыряй пальцем, и отвечай с толком, с расстановкой. Нажимай на ногу: болит нога, худо сгибается, к ночи опухает; спросят про сердце — шалит сердце, трепыхается, будто худая рукавица; спросят про грудь — откуда груди здоровой быть, ты ли в лесу не померз, не подул в «когти» и так далее. Напоследок тяжело вздохнула, сказала:

— Вон Ленька Бабьеухин на ВТЭК ходил, бычье стегно в мешок и третья группа, а у нас в кармане — вошь на аркане.

Платон обыкновенный русский мужик: с заметной чудинкой, временами безалаберный, местами полоротый, подчас ленивый, малость вороватый, выпивающий по советским праздникам, а также по церковным, и прочие «захотиевые» дни стороной не обходит, порой дурит. А кто у нас не дурит да на гармошке играть не умеет, за того девки замуж идут неохотно. Платон быка за рога берёт редко, если есть возможность плюнуть на рога издали, он плюнет. От роду ему сорок восемь годков. Тощ, как чахоточный волк после голодной зимы. Бедность часто заглядывает в окна, крадётся вдоль поваленной изгороди, забредает в дом. Огород у Исплошиных зарос дикой травой, огурцы и картошку Платон ворует у вдовы через дорогу, на дрова ломает школьную ограду, благо школа рядом. Иван Попов рубил новую избу, сколько поговорил: «Прибери щепы. Рад будешь». Всё некогда... Иван щепы сгрёб в кучу и спалил. Платон косит под захаря, на его улице на тычинах красуются коровьи и лошадиные черепа. Станет Платона стыдить председатель сельсовета за тунеядство, вскинет Платон голову, сверкнет карими глазами и скажет:

— Знал я, Трофим Савич, что сегодня меня власть побреет: кошка поперек порога лежит!

Какая кошка! Мыши на столе в карты играют.

Вот идёт Платон со страшной горечью в душе на автобусную остановку. Желудок требует калорийной пищи, а где её взять, пишу — то? Снег скрипит под валенками. Валенкам в обед сто лет, разбиты до дыр. Небрит, нестрижен. Старательно припадает на правую ногу, тренируется. Штаны на нём ватные, мотня парусит, как заставленный в реке на быстрину бредень, рубаха на нём домотканая, в заплатах — в ней покойный дед вступал в колхоз, шапка рваная, фуфайку с большой натяжкой можно назвать фуфайкой. Это какой-то перешитый армяк, скорее всего служащий два века пугалом от назойливых воробьёв. Но самое забавное, это батоги — две, на скорую руку сломленные через колено берёзки. Нет-нет, Платон не бродяга, не изгой общества, не шальной и

не урод, он просто идёт на ВТЭК, и оделся во рваньё намеренно, чтоб вызвать у докторов жалость и сострадание. В автобусе садится на сидение «Места для детей и инвалидов», батоги бережно кладёт себе под ноги. Платон спокоен как давно остывший мамонт. Рот его приоткрыт, он улыбается и бормочет разудалую частушку.

Напротив Платона уселся зловредный дед Мезин, он родом из тех мест, где выведена мезенская порода лошадей.

– Не на Соловки ли собрался, Платошка?

Ноль эмоций. Молчит Платон и носом в сторону старика не ведёт.

Теперь приоткроем врачебную тайну: беседу врача с пациентом. В кабине сидят две женщины, их во внимание принимать не надо. Это маленькие сошки от пенсионного ведомства, бумагомаратели одним словом.

Врач как врач – мумия в белом халате, в белом колпаке, по слухам – Авиценна местного разлива, таких эскулапов у нас большие тысячи. В каждом лекаре энергия пробуждается при виде свежего пациента, а между пациентами лекари выглядят пассивными, усталыми, дерут бороды пятерней, если бороды для солидности отпустили и зевают. Наш доктор был небольшого роста, с выпирающим брюшком, лысый, позитивный и задумчивый. Наш доктор вопреки принятой логике вещей цеплять на грудь брелок с изображением змеи, цепляя эмалевую пчелу – принцип бережливости. Такие врачи берегут государственную копеечку.

И даже диагноз ставят «влёт».

С минуту врач листал «досье», и спрашивает:

– Гм… ноги болят?

Платон, старательно оттягивая больную правую ногу, погнул голову в сторону врача, чуток нахохлился и, будто обременённый тяжкой умственной ношой, что римский трибун, выдал:

– Всё спешим, спешим, коммунизм строим, по Европам призраков ловим, а нужны они нам, призраки – то? Своих призраков мало в райкомах сидит?

И погрозил своим, а, может, заморским дядям указательным пальцем правой руки.

– Ноги, доктор, будто собаки грызут. Который год ногами маюсь.

Как-то не любя вспомнил Европу, что поделаешь, образование – стандартная семилетка, а ну бы всю среднюю школу окончил? На лопатки бросил бы своего далёкого греческого тёзку с его классической формой объективного идеализма! Опёрся большой ногой на политический костыль!

Врач засмеялся, вернее, захохотал, да так, что слезы брызнули из глаз, и одна слезинка тяжелой каплей упала на белоснежный халат.

— То-то смотрю, ты приодет знатно. Коммунизм, значит, строишь? Голова от дум того... пухнет голова-то? Бомжуешь?

Платон:

— Да что вы, господь с Вами! Своим хозяйством живу. Справно. По мере сил. Вот здоровье... в голове, дорогой товарищ врач, будто черти в котле смолу греют. Полный швах, как говорят фашисты.

— Спишь как?

— Какой сон, уважаемый товарищ доктор? Только прилягу, только задремлю, да как вздрогну! Чудится, что под окном бандиты ходят и меня зарезать хотят. У меня сосед есть, Ваня Попов, нож постоянно за голенищем носит. Психика, товарищ доктор, психика ни к черту.

— Про Гамлета слышал?

— Гамлет, Гамлет... Вроде на Пинеге встречались... Из ваших что ли?

— Скорее из «ваших». Гамлет тоже страдал расстройством психики: «Уснуть! И видеть сны, быть может?» Миллионы под подушкой прячешь?

— Миллионы, — хмыкнул Платон. — На хлебушек стоптать и то праздничник.

— Широко по стране колесил или осёдло живёшь?

— Да где я только не побывал! И лес валил, и шпалы носил, и баржи выгружал. Тигров уссурийских ловил. Меня в клетку запирали, на приманку тигру, вот где страхи-то лютые! Там всё здоровье и оставил, в кедрачах.

Вопросы — ответы, вопросы — ответы...

— На первом курсе я матросскую пляску постиг, такие конца выкидывал, не верится даже!... Теперь — увы, — врач наглаживает рукой свой живот, — арбуз растёт, а хвостик сохнет.

Душа Платона потянулась к родственной душе плясуну доктора:

— Я тоже плясал! Ух, бывало, каблуки рвал!! Как дробану, дробану — стёкла в клубе в рамках звенели!

— А теперь? Всё в прошлом?

— Да так-то ещё могу немного... — буквально простонал, сокрушаясь, Платон.

— Ну-ну, присядь... отпустишь от палок... Во! Во!! Отлично! Эх, брюки мешают... А стометровку за сколько секунд бегал?

— Мужики пошлют за вином, время засекут, так я дорогой свой пай из горла хлебану и тютелька в тютельку уложусь!

Служить бы доктору в контрразведке. «Досье» закрыл, лукаво подмигнул:

– Не зарывай талант в землю! Просись в ансамбль песни и пляски имени Александрова!

Правится домой Платон. Без батогов. Кинул батоги у стены больницы. Не чувствует ни подавленности, ни волнения. Простота святая, пёстрая проза жизни. Полной грудью дышит запахом родной стороны. Мчится автобус, выхватывая из темноты далёкие огоньки. В столовой посчастливилось повстречать Михаила Михайловича, в полковниках ходит знаменитый земляк. Михаил Михайлович ездил с семьёй к Деду Морозу в Великий Устюг. Поначалу полковник не хотел признавать Платона, но Платон стал вызывающе чесаться перед ним, изображая свирепую вшивую обезьяну, сверкать глазами, намекнул на родственные гены. Малец лет семи захныкал. Отец взял парнишку на руки, стал успокаивать:

– Мой храбрый капитан не узнал Робинзона Крузо? Он же пасёт коз у Деда Мороза, умеет читать, бегает быстро – быстро, не боится пиратов и уколов.

И сдался, подал Платону денежку. Платон лётом летел в магазин. Хрущевский стакан водки хлобыстнул за углом, отёр рот рукавом, и побрёл на автобусную остановку.

Поёт Платон на весь салон, что называется «на вынос»:

Хулиганом называют,

Хулиганить буду я-я!

Голова моя исхлёстана,

Истыканы бока-а!!

Дед Мезин везёт мешок муки. Он думает о том, что доброта и вино высасывают из человека соки, а зло и работа отдают человека самому себе; мало тебя в детстве пороли, Платошка, мало!

Не выхлопотал инвалидность, жаль, конечно. У бога дней не решето, выхлопочет на другой раз. Дорогу теперь знает. Уж в другой-то раз!.. На другой раз его как воробья на мякине не проведут!

А баба... Ивея переживёт, и не такое лихо топтала. Должно быть, испустит волнующий кровь вопль на всю деревню, поставит под глаз муженьку «фонарь», поплачет да и смирится с судьбиной.

Вехи

В палате нас четверо. Я самый молодой, мне всего сорок пять. Вроде уж пожил, жаль ум в зыбке забыл. Лежу с сотрясением мозга. Брат в гости приехал, как «отоварились» с ним на радостях, что сам себе не рад. Браню теперь строителей: мосты делают узкими, все экономят, тащат да пропивают лесоматериалы, я вот на тракторе не вписался в проезжую часть, в реку опрокинулся. И брата хвалить нечего, сдуруел от соснового запаха, не успею стакан налить, «на лоб» да «на лоб».

Плещивый с тараканьими усами бывший милиционер Воронов демонстративно отвернулся к стене, подтянул ноги к тощему животу, молчит, и с ним никто в разговоры не навязывается. Дуется. Моя бабка говорила: «На сердитых воду возят» – продуется. В больнице день без разговоров скоротать, это пытка. Вот, к примеру, как заселился в нам в палату Воронов. Заходит, будто к себе домой, по – хозяйствски, нас как фотографирует взглядом всех вместе и по отдельности, взгляд как у разведчика, острый, профессиональный. Хоть бы поздоровался, так нет, сел на свою не заправленную бельём кровать, начинает шелестеть пакетами, свертками. Вынес из объёмной сумки пакет, на тумбочку положит – все видите? пакет обратно в сумку затолкает. Яиц я видел штук десять, банку с мёдом, палку колбасы и т. д. «Старики», естественно, каждый про себя строит догадки: что за знатный гусь залетел в палату? Кем бы он ни был, с его стороны это было полным актерством или проще глупостью, показухой. Потом спросил всех сразу, как мы кормимся: колхозом или на особицу? Молчание. Сестра «утки» выносит или …на меня, сидящего в бинтах, посмотрел особенно прискорбно. Мне даже показалось, что он делает над собой усилие не приказать мне: «Ты будешь выносить мою утку!». Опять молчание в ответ. И, видимо, «молодой» больной решил, что в палате лежать одни лохи. Через час уже стал, как пахан на зоне, нас поучать правильно жить, принаршиваясь к реалиям нашего времени; будто заслуженный генерал требует какого-то особого уважения к его персоне. Свысока на всех поглядывает, о женщинах говорит цинично и глаза свои рыси прищуривает, мол, плавали, знаем. Подозрителен. На мою тумбочку медсестра кладёт таблетки, так он обязательно приподнимет голову от подушки, носом крупным, ястребиный поводит и усмехнется, дескать, вижу-вижу, по «блату» чуть не горстями выдают. Днями, особенно перед обходом врачей, тянет страдальческую песню; мы ли не поработали, мы ли не померзли. Рассказы у него героические.

И там бандитов «брал», и в другом притоне «брал», и конвоировал, и «шмон чинил». Или его байка про послевоенную деревню:

— Захожу в избу, тыр-пыр глянул на божнице: «Это что за новости? Снять иконы!». И первым делом на потолок лезу. Всё, говорю, тетка, твою трубу, я опломбировал, топить не смей, то штраф. Или зови печника, клади новую. Баба в слезы, тыр-пыр, лезет в подполье, и рыжики есть, и выпивка найдется. Ну что ты, участковый тогда уважаемый человек был. Мужиков мало в деревнях, которая из себя ничего да помоложе, тыр-пыр, намек делаю: ладно, говорю, переговорю с прокурором, печать можно снять, но... баба ты неглупая, всякая забота золотого стоит. Баба крутится, обмирает, тыр — пыр, будто не догадывается, шельма, о каком условии речь я веду... Или с обысками ходили, сено незаконное конфисковали. В редкой деревне хорошенъкой бабешки у меня не было, ну и первым делом незаметно вечерком к ней, к лапушке, к осведомителю своему, наведаюсь. Служба. Ты ей добро, и она добром. В пору я был парень видный, планшетка офицерская чуть не до земли — чем ниже сумка, тем выше начальник! тыр-пыр, сапоги гармошкой, китель с иголочки, любил баб плутоватых... А вот интересно, как я с агентом ходили по деревням, подписку оформляли на займы. Баба клянется, божится, что не подпишется, а у нас план, у нас график, самих за невыполнение заметут...

Высокий костлявый старик Егорыч приехал, как говорит сам, перед смертью родину навестить, крестам на кладбище помолиться, по оранине босому походить, да на беду ногу сломал, лежит на «самолете». Не вытерпел и говорит из своего угла:

— Молодой, — ко мне обращается. — Очень тебя попрошу, самому вставать не охота, подай костыль. Перепояшу раз другой этому боталу по хребтине за тех баб горемычных. Ишь, сволочь ты эдакая, какую оклесицу несешь. Поди — ко бабам после войны до тебя, кобелишка рваного, было!! А, сучья морда?!

Напротив Егорыча толстяк Заверткин. Шурка, как сам велел его называть. Этого Шурку Заверткина готовят к операции. К какой? Не говорит, скрывает, при слове «рак» весь обмирает, втягивает в себя объемистый живот, тревожно крутит головой на короткой шее. Ночами плачет. Мода у Егорыча, лежащего напротив, Шурку про погоду расспрашивать, — выгляни да выгляни в окошко. Первые дни толстяк охотно выглядывал, даже смеялся, сравнивая себя с петушком из сказки, то скажет, вроде прохладой из соснового бора потянуло, то в пурпур оделась каким-то чудом затесавшаяся среди сосен трепещущая осина, то увидел утиную

стайку, промелькнувшую над вершинами и радостно пощокал языком им вслед, а вдруг однажды увидел туман, стелющийся по самой земле, посчитал это худой приметой и заскучал. Егорыч спросит, что там за окном, толстяк с изумлением и испугом вроде дернется к окну и как скиснет весь, обратно на кровать опрокинется. Каждый вечер к нему приходит рыжеволосая жена с опухшим мятым лицом, посидит у кровати на стуле, повздыхает, нас всех тоскливо оглядит как отпоеёт, скажет мужу, чем сегодня кроликов кормила, чего в магазине купила, спросит, чего принести. Шурка отрешенно махнет рукой...чего нести, сама видишь, не жилец я.

День идёт, другой ковыляет.

Всё, кажется, переговорили.

Сопит Егорыч, хмыкает.

– Эй ты, рожа ментовская! Сморозь какую бухтину!

– Тебе чего надо?! – развернувшись на кровати, едва не кричит бывший милиционер. – Ты чего привязался?

Я не сказал, что у Воронина нервный тик, дергается сильно правое веко.

– Судья, тоже мне!

– Ты судьи-то настоящего не видал, скажу я тебе, трепло кукурузное! Учат вас к телефонным столбам привязываться. Не я тебе судья, время тебе судья. – У Егорыча начинают сблескивать глаза. – Нога заживёт, не я буду, что рожу тебе не набью. Бабы после войны на себе плуги таскали, ночи в подушки по убитым мужикам ревели, клеверные лепешки ели, а ты, сытый, важный, родиной обмундированный... Не будь этой милиции, гнал бы тебя по земле ветер, рвань! О каждом человеке можно сказать, чей он, какого роду- племени. Один плотник – в Каргополе истари самые хорошие плотники, другой горновой – Череповец! Третий тракторист знатный – этот из нашей деревни, у нас в деревне все мужики труженики отменные, а четвертый... ты, мент поганый, ты чьего роду – племени? Ты – лист, ветром сорванный! У такого мертвого листа даже сожаления нет, что рос когда-то на дереве, его даже сосед не замечает, а если замечает, то рожей интересуется: до сих пор цела?

Два дня в палате чувствовалась натянутая обстановка. Воронин умоляющее просится у врача перевести его в другую палату, тот отказывает:

– В бане и в больнице все равны.

А Егорыч не унимается:

– Заслуженный работник милиции... Ты хоть бандита настоящего видел, потрошитель карманов у пьяных мужиков? Наград, поди-ко, нахад-

пал много, во всю грудь иконостас?

С нескрываемой ненавистью глядел на Егорыча бывший милиционер. Будь его время, с потрохами сожрал бы его. Или в клоповник засадил суток на пятнадцать – двадцать, отбил почки или уморил бы с голоду.

– Разные дни в жизни человека бывают, порой оглянешься в прожитое – пусто, неуютно, вроде как пуговицы на одежде не все застегнул в ветреную погоду, дрожь чувствуешь, а есть дни как на сердце высеченные зарубки, глубокие, с острыми краями. Потрогаешь ту зарубку – кривоточит, что береза весной заломленная… – говорит Егорыч. – Вот прошлый год мне операцию делали на глаз в Вологде. Парень один весёлый такой… заливает, мол, жизнь у него сплошные праздники, дни – столбы бутылочные. Стану, говорит, жизнь вспоминать, – там «гудел», в другом месте обожрался, или его в гости позвали, а он под столом ночевал и описался весь, или в «кузуке» парился. Иду, говорит, мимо этих столбов, а они будто вехи – от веселья к веселью; жена завмагазином – достаток во всем, дружки – приятели в каждом кабаке, в каждом подъезде, тут в лопухах морду на бок своротили, в другом месте замерзл, а столбы поют, столбы тонят, как стаканчики пустые дзинькают, с музыкой встречают, с оркестром провожают. И провода все в бутылочках, от «огнегушителей» до «резьбы». Сам себя тот парень страсть как ругал. Обожрусь, говорит, все у меня виновные, от Кремля до завхоза в детском садике. Кто-то мне крылья подрезал, кто-то обмарал меня, кто-то подсидел меня. Спрашиваю, а ты чего нибудь полезное для кого нибудь сделал? «А и не знаю… что разве двух девчонок зимой из полыни вытащил… ещё за старуху заступился и нож в бок получил… Да так, по мелочам всё. Вот пойду я в церковь после больницы… будто кто зовёт меня…»

Один старик в нашей палате ел интересно. Хлеб нюхает, нюхает, отщипнёт крошку, в рот беззубый положит, и глаза закроет. Спрашиваю, чего он так лениво кормится? Я, отвечает старик, в молодые годы об одном мечтал: хлеба! Хлеба! Того, душистого, довоенного, от которого и сейчас слюни бегут, ноздри щекочет, дух хлебный во всех углах сидит, в мозг зашел и пока жив не выйдет.

– Во! – встрепенулся на кровати Егорыч. – А ты, ментяра!.. Специалист по печным трубам! Ты когда нибудь голодал, а?

Выскочил бывший милиционер из палаты.

– Рвань поганая!… В сорок третьем закончил я пять классов, на том мои университеты и кончились. Школу пришлось бросить. В семье ещё четверо, отца убили в сорок первом, бабка слепая. Вот, мужики, травы

я съел, так за хорошую корову. Крапива да щавель – королевское блюдо, чуть снег сошел – крапивка просела – радость: выжили! Везде крапивка выщипана, около каждого уголка, и кора сосновая, и куглина льняная, и шишки клеверные, все шло. Сколько народу померло... До сорок седьмого работал в колхозе, хоть сколько-то мучки на трудодень давали. На быке дрова зимами возил. Васькой быка звали. Придумает везти – черта болотного утянет, а то ляжет и лежит, хоть уревись около него. Раз на сенокосе вместе с телегой в омут забрался, засосало его, еле живого на ветвях вытащили. Или раз овец пасу, разморило, прилег на пригорочке, сквозь сон слышу топот да блеяние. Очнулся. Бегу на шум, а волк барана за загривок хватать и прёт. Отпас овечек лето за так, не списали на волка того барана, списали на меня. Раньше за горсть колосков десятку давали... Вот в сорок седьмом приносят мне повестку явиться райвоенкомат для обучения в школе ФЗО. Народ пугливый, всего боится, властей, неизвестности. Верю, что бабы со страху обмирали, пригрози им какой-то печатью. Не пошел в военкомат, мать ревит, сам боюсь. Второй раз бумага. Опять не иду. Мать в подполье прятать стала. На третий раз облавой накрыли. Вроде его... – показывает рукой на дверь, – Руки мне веревкой скрутил. Больно, я ору, а он наганом мне под нос тычет. Бригадир Иван Иванович привелся, пристыдил милиционера. Тот мне руки и развязал. Говорит мне Иван Иванович, мол, бежи, Мишка, калитку закрой, как да гуси на потраву выйдут. За одного гуся тогда с потравы давали штрафу до полтрудодня. Я за калитку да и был таков. В дальнее поле убежал, в зарод с горохом не обмолоченным забрался. Ем горох да глаза вострю. Пить захотелось. Сбегал к родничку, напился, и опять горох уминаю. И заурчало на брюхе, пужит всего. Ну, думаю, умираю. Домой притащился, а Иван Иванович у нас сидит. У него одна нога была, сам худющий, и говорит мне Иван Иванович: «Так, паря, простота-то хуже воровства, приказ вышел мне тебя в райцентр вести. Вот ведь как обернулось». Проболелось у меня брюхо, и пошли мы с ним пешком за сорок километров. Осень, уж попозднее чем нынче, дорога замерзла, оба в лапотки обуты, армячишки на обоих на рыбьем меху, житник в котомке. Я ладно, на двух ногах, а он на одной, протез деревянный на другой-то... Ох и попошли. Чтобы мне, дураку, первый раз не бегать, на телеге довезли бы как белого человека. Жалко Ивана Ивановича. Не ходи, обещаю ему, не сбегу. Вертайся домой ради Христа. Не могу, отвечает, слово я дал. До сих пор Ивана Ивановича жаль, через меня муки принял. Очутился я в школе ФЗО. Повезло, не ожидал. Главное, мастера там были, высший класс. Сколько шпаны беспрizорной через их руки прошло, и ведь не

огрубели душой. Владимир Михайлович Глотов, этот роднее батька родного был. А так разобраться, везло мне на хороших людей. В армии на командиров везло, командир ротный был по фамилии Лисопад, золото, не мужик. Стану засыпать и моих наставников перебираю, хороших людей, с кем встретиться довелось.

А плохих стараюсь не вспоминать. Вспомниться злой, самолюбивый, нахрапистый, на руку нечистый, заносчивый человечишко, я представляю, что он ночами во сне храпит и всё, не вспоминается больше...

Пришел хирург, встал против Шурки Заверткина. Озабоченный Шурка Заверткин вскочил с кровати, как вышколенный ефрейтор, выпутил живот.

— Домой, — совершенно неожиданно для Шурки Заверткина, сказал хирург. — Меньше ешь, больше двигайся. На вот, — подал тоненькую книжечку, — читай про Порфирия Иванова.

Спокойный, уверенный тон хирурга подействовал на Шурку Заверткина отрезвляюще. Жирное лицо покрылось багровыми пятнами, не сдержался, схватил руку хирурга, прижался к ней губами.

— Перестаньте, перестаньте, — хирург освободил руку, пошел из палаты. За скобу взялся, обернулся к Воронову, сидящему на кровати поверх одеяла. — Тоже домой. Никакой второй группы! Забудьте про неё. Нас ещё пахать и сеять можно, милостивый государь.

Закрылась за хирургом дверь, Егорыч так на «самолете» заерзal, что едва не опрокинулся.

— Мимо! — не выдержал обрадованный Егорыч. — Не вывернул, печник? Сучья твоя морда! Группу ему подавай, стахановцу! Мне все время везёт на хороших людей. Лекарства ему бесплатные, проезд ему бесплатный, а во, во — фигу с маслом!!

Полетели в сумку пакетики, баночки, кульки.

Старая лошадь постоянно слышит свист кнута.

Военное ремесло.

Пятнадцать лет солдат служил царю батюшке, отпуск выслужил. На службу уходил юнцом безусым, домой идёт зрелым мужчиной.

Дорога дальняя, а мысли ближние: скорее бы деревню свою увидеть. Лежит родная сторона за озерами, за лесами, волок с гаком, да волок без гака, верста с батогом, да верста с оглоблей. Хлеб весь вышел, сапоги сносились. До такой волости дошел, никто ночевать не пускает. Стоит

солдат на росстани, понять не может: быть того не может, чтобы русскому солдату в ночлеге отказали, за стол не пригласили. «Помирать что ли мне под окнами голодному да холодному? Живота не жалел, верой правдой служил...» Видит церковь православная на кладбище стоит, рядом с храмом дом священника под железной крышей. Обругал солдат себя растяпой – к батюшке надо на постой проситься!

Заходит к попу, так мол и так, некрещеная у вас деревня. Когда это слыхано, чтоб русскому солдату в корке отказали? И отвечает ему поп с большим прискорбьем:

– Потому и не пускают, что я просил мужиков не пускать. Видишь, дом стоит с иголочки новенький? Вот иди и ночуй. Ночуешь да жив останешься, и дом твой, и дочь наша твоей будет.

Спрашивает солдат, что за притча такая, вроде как щедрость, вроде как испытание?

Отвечает поп:

– Облюбовали дом черти, не стану скрывать. Народ стороной дом обходит. Церковь полупустая. Какой я священник, коль с чертами совладать не могу? Вызывались смельчаки, да утром находили одни косточки. Не принуждаю. Выбирай, солдат.

Думает солдат: в родной стороне избенка кособокая, пашни одна десятина, в хозяйстве коровешка да три овечки. Девки работящие да пригожие в ихней деревне, только девки в любой волости подобны картошке в чугуне. Картошку перебирают, перебирают, да всю съедят, так и девок разберут. А черти... басен про чертей да бесов всяких ковшом не вычерпать, встречаться, правда, с нечистой силой пока не доводилось, но не зря бытует поговорка, мол, не так страшен чёрт, каким его малютят.

Согласился. Запросил штоф водочки, табаку фунт да сверло доброе. Поп обрадовался, и водки два штофа выставил, и табаку два фунта, и два сверла добрых.

Сидит в поповском доме, водочку потягивает, табачок покуривает. Ближе в полночи и зашумело, и загремело, и подполье крышкой захлопало. Вылез чертёночок, ругает солдата:

– Ты, служивая мочалка, такой сякой печной и мазаный! Как ты посмел, дурак, столько дыму напустить? Ужо дедушко тебя...

Солдат схватил чертёночка и ремнем отодрал. Отодрал и отпустил, хвост накрутил бедняге. Чуть погодя стали появляться черти, и косматые, и рогатые, облезлые, волосатые, кувыркаются, мычат, кто во что горазд. Особо чертёночок обиженный осмелел, щиплет, уши царапает, по носу щелкает. Смирно сидит в стороне большой рогатый черт, один глаз

коровий, другой мышиный, наблюдает. Терпел-терпел солдат и говорит этому, с разными глазами:

— Ваше главное чертовское величество! Если ты не министр и не канцлер, то должно быть ящиком с золотом заведуешь. Разве ты для того рожден своим отцом, чтоб тобой детишек пугали? Нет, конечно. Ты, ваше главное чертовское величество, рождён повелевать ордой своих подданных. Послушай меня, глупого солдата, царёва защитника: тебе, как лицу высокого положения, нужна личная гвардия и рота почетного караула. Вот приедет к тебе в гости из-за моря заморский главный черт, его надо встретить, блеснуть выправкой, облобызать, хоть и противно даже, обхитрить, облапошить, выгоду поиметь, золотишко вытребовать. Это у нас людей политическим маневром называется. Как ты своих кривляк во фронт поставишь? О силе власти судят в первую очередь по роте почетного караула. Солдат дымом греется да шилом бреется, черт обязан превзойти человека по всем позициям. Ремесло, ваше чертовское величество, не пестерь, плечи не оттянет, особо военное, оно приятно для мужского пола и особо для женского. Женщина как увидит мужчину стройного... вот у тебя горб, к примеру, а по всем позициям горба быть не должно. Или брюхо у тебя дряблое... во, подтянулся, молодец! Чувствуется способность к военной выправке. Тебя бы, ваше чертовское степенство, недели три погонять по плацу голодом... ну, ну, твоё степенство, помилуйте, зачем сразу меня колотить? Лучше худой мир, чем гиблая война.

Главный черт то побелеет, то посинеет, бегает, слюной брызжет, ногти грызёт, кулачищем у солдата перед лицом трясёт.

— Согласен! Назначаю тебя инструктором. Учи, а вы!... Слушать меня: кто солдату перечить будет — сто лет каторги, двести изгнания!

— Ну, господа черти, кончай волынку! — командует солдат. — Становись по ранжиру! Становись и принимай солдатский паёк: чарочку водочки.

Что тут пошло! Один черт маленьkim был, вдруг до потолка вырос, который до потолка был, с мышь оказался. Изворотливы черти. Такую форму тела примут, что диву даётся. А который чарочку примет да мычать изволит, я — де на языке болотных «ботаю». Солдат и давай учить так, как самого фельдфебель учил: затрешины сыплются, крики, вой, кочерга по хребтам гуляет. До седьмого пота гонял. Два раза петух прокричал, а как третий прокричит, кончится власть чертей. Солдат берёт сверло доброе и отверстие в стене сверлит.

— Да разве настоящий солдат в такую пору в теплой избе парится? В летние лагеря!

Известно было солдату, как чертей выводить из людских изб: только через дыру в сутнем углу.

Дыру в стене просверлил и командует:

— Шагом марш один за одним!

Только черти через дыру выползли, солдат затычку хвать и забил дыру. Всё! Нет больше ходу чертям в дом ни под каким предлогом!

Утром поп с работником приходят, а солдат живой и невредимый их встречает. Обрадовался поп: спас солдат подмоченную репутацию! Велит всей волости объявить, что прогонил солдат чертей. На вторую ночь набрался поп храбрости, вместе с солдатом переночевал. Опять никаких чертей нет. Еще пуще поп обрадовался, велит объявить, что дочь замуж выдаёт.

Женился солдат. Поповская баня на берегу озера была. Натопила молодуха баню, солдат ранец солдатский на плечи — своя ноша плеч не давит, жену молодую под руку и чин-чинаём мыться. Блаженствует на полке, фельдфебеля вспоминает. И захотелось ему в озере окунуться. Только нырнул, главный черт и сцепил. Черти-то далеко не ушли, в озере приблудились.

— Ага, он, видите ли, умён, а я баран безмозглый?! Вот и свиделись, рожа оловянная. Нас, значит, в летние лагеря отправил, а сам с молодухой развлекаешься? Ты мудёр, а я лыком шит?

— Слаб человек, — вздыхает солдат. — Вину за собой признаю и прощения прошу. И готов понести заслуженное наказание. У нас у людей повинную голову меч не берёт, ты, ваше главное чертовское величество, думай, какого наказания я заслуживаю, а пока дозволь, ваше чертовское величество, с женой проститься. Прощусь, а там... хоть пятки тебе чесать, хоть решетом воду носить, а то и ребят твоих солдатскому ремеслу учить...

— А теперь я тебя учить стану! Так стану!.. Ладно, — согласился главный черт. — Последний раз поверю. На зависть конкурентов охота мне перед иностранными державами во всем блеске явиться. Славы хочу и коленопреклонения!

Выносит солдат на улицу шайку кипятка, веничек заваривает берёзовый. Ну, велит жене, сорочку погоди одевать, голым телом на чертей приманчиво воздействуй, легонечко меня бей, а я песню солдатскую запою. Кричит солдат не своим голосом, жена аж уши зажимает. Главный черт внутика послал на разведку. Чертенок рад стараться, минуты не прошло деду результат доносит. «Чего же он вопит во всю ивановскую? — думает главный черт. — Может, секретное послание иностранцам по-

сылает?» Сам вышел на белый свет, – эх, хороша у солдата молодуха! обернулся черным котом, подкрался. Видит солдат, из травы любопытная морда кошачья высунулась, один глаз коровий, другой мышиный, смекнул: настоящий кот от его криков да визгу за версту убежит, стало быть это черт. Хватает кота и в кипяток окунает. И топит, протесты и угрозы во внимание не принимает. Взмолился черт, отпусти, плачется, уйдем из этой волости. Велит солдат жене ранец нести, сверло достает доброе и хвост черту засверливают. Главный черт зубами скрежещет, терпит. Просверлил солдат хвост черту и отпустил на волю. До облаков выскоцил чёрт, взревел, да бежать! Бежит да хвост рваный облизывает, чтоб подчиненные крови не видели. Позор!!! Глупый солдат, оловянная рожа, башковитого черта облапошил! Бежит главный черт на махах, что иноходец чешет, и рядовой состав за ним, повыскакивали из озера. Больше в волости никто никогда о чертях не слышал.

Хорошо солдат отпуск провёл. Стал в армию возвращаться, просит тестя отправить жену к его родителям, пусть старики на сноху посмотрят. «Не плохо бы подарить свату пару коней да пяток коровок» – намекает тестю. Через год женушка к солдату с дитём прикатила. Нынче они солдатской слободе живут. Солдату, как человеку семейному, разрешается днем службу нести при дворе, а ночевать дома.

Выборы звонаря. (сказка)

Где жизнь куют, там песни поют. А где куют и где поют? – где в колокол звонят. Звонят, значит, кто-то усоп; звонят, значит, кто-то родился.

В лесу без звона жить нельзя. Звон очищает лес, Месяц не утерпит ночью высунуть ухо из тулупа и прислушаться к звону, Дождь прекрасно отплёвывается и храпеть от душающей его сырости, лишь бы послушать звон. Бредёт по лесу Осёл, и звонит, и звонит, сам давно от звона оглох.

Беда всегда приходит неожиданно.

Не совру, бровью не поведу: было в дне от восхода до заката две-надцать часов, были времена, когда зверьё ростом ниже, пузой жиже, критиковало зверьё ростом выше, пузом шишре, и зверьё из суконного ряда сидело в президиумах.

Первыми узнали про беду лиса Матрёна и волк Обездоленный. Лиса

Матрёна тихонько готовила военный переворот и захват власти в лесном жительстве, а волк Обездоленный (у лисы на побегушках) числится в штате Смотрителем. Интеллект у волка один: прописаться в покоях лисы Матрёны. Парочка видит: год от году уменьшается звериное и птичье поголовье, а почему? От вседозволенности королевской семьи. Птични гнёзда вёснами уничтожают, муравейники разрывают и спят в них, падаль для них любимое кушанье, землю под деревьями копают... вон! Прочь с должности!!

У одного наследного принца кабана Хрюкина деревянное сидение от унитаза было рамой для его творческого лица, — грубое несоответствие занимаемой должности с природными данными. Принц не работал над собой, мало изучал действительность, жил запасом старых образов (дед и бабка), ему бы родиться скрипачом, и разучивать ноты до тех пор, пока от трения не вспыхнут струны, так нет же, родился королём — правь! Принцы сутками на работе, они повторяют и повторяют одни и тот же пассажи, церемониалы, парады, одни и те же параграфы поведения, принимают послов, обиженных, обездоленных, сутками кожа на их лицах то растягивается от улыбки, то сжимается от боли, ночью жену поцеловать не могут.

Умер принц. Тяжёлый, горестный звон будоражит лес. Плачем бурлит каждая кочка. Это потом звери и птицы узнают, что Главный звонарь подавился костью (а ведь был почетным академиком общества вегетарианцев!). Занимал принц Хрюкин должность звонаря в Энском зоосодружестве. Состоял у него в помощниках Осёл. Умный начальник всегда держит в заместителях глупого помощника, глупый зам — живые консервы. Сразу нашлось много злых языков, оппозиция начала готовить черные списки недовольных, ото всюду послышались нелесные отзывы: и многоженец был, и к обязанностям относился как карты лягут, и спал много, и обжорством страдал, и всю грязную работу воротил за него Осёл.

На то он и Осёл!

Нет преемника! Зароптали звери, зверята ушли на бессрочные каникулы, кабанихи ропщут: как и кто декретные отпуска оплачивать станет? Как много желающих занять вакантную должность объявились! Турнирные бои начались. Шутка ли: право первой брачной ночи, огромная материальная заинтересованность, освобождение от уплаты подоходного налога и воинской повинности, бесплатные грязевые бани, бесплатный проезд на линиях местного метрополитена, неприкословенность в самый лютый голод и прочее. Склоки, обращения в конституционный суд, дрязги... есть власть — худо, нет власти — ещё хуже.

Год длился беспредел. А Осёл всё звонил и звонил в колокол. То в одном углу леса образуется политическая фракция и рассыплется, то в другом углу коалиция, да подполье взбунтовалось – соседи подкидывают идеи свергать всякого, кто без подсказки их, соседей, к власти придёт. Устали звери жить в страхе.

Собрались вместе, осторожничают; помалу раскачались, выбрали президиум по трём нравственным категориям: медведя Овсюгина, сову Мышеедову и коршуна Вершинина (сила, ум, бросок). Открыла собрание сова Мышеедова:

– Судари, дамы. Мужики, бабы. Джентльмены, барыни. Да будет сегодняшний день знаковым: никто никого не лапой, ни клювом, ни жалом не тронет! Нас постигло большое горе: нет рядом с нами наследного принца Хрюкина, нет в лесу порядка, нет учтивости...

Говорила долго, перед собой Лесной Устав раскрытым держала. Что там было написано, малограмотное сообщество не знало, но проникалось важностью момента к печатному слову. Сова упирала на обязательную свирепость будущего кандидата, мол, порядок наведёт сильная личность, а мягкотельные годятся только в пищу, налегала на портретные характеристики – чтоб рыкнул, так рыкнул, мыкнул так мыкнул, хрюкнул так хрюкнул – слабохарактерные члены сообщества вечно страдают поносом.

– Предлагайте кандидатуры.

– Матрёну! Лису Матрёну! – клыками щёлкает волк Обездоленный.

Не зря кричит: лиса Матрёна обещает ему повышение по службе, а какой у лисы Матрёны харч отменный! Самовар свой индивидуальный имеется, перины мягкие, деньги ссужает под большие проценты... лисе любая инфляция по боку!

– Ястреба Добрягу! – чирикает воробей.

– Львицу Грациозненскую! – мычит буйвол.

Слабый заручается поддержать своего жизненного заклятого врага. А почему? Голосование тайное! Кричать это одно, а голосовать – другое.

Драки начались. Пришлось медведю Овсюгину иройтись по рядам, помахать лапами. Волк Обездоленный многих на испуг брал, тому больше всех от медведя Овсюгина поддавков досталось.

Выдвинули от «Консерваторов» лося Парфена Гордого, от союза правых сил (они же иноземные подстрекатели) лису Матрёну, от свободных демократов глухаря Никитича.

И счетную комиссию из всякой мошкарь насобирали.

А заяц Садко места себе не находит: опять сова Мышеедова про-

рочит свирепость, жестокость, казни, когда же придёт раскrepощение личности? Как всех объегорить, как сжульничать и звонарём стать? Столько уважения, льгот, неприкосновенность личности!...Был он холостым бродячим певцом, перебивался с воды на капусту. И били его часто в кабаках уважаемые богатеи, и склоняли за тунеядство, и высылкой грозили, волк Обездоленный лапу искасал... Сел он рядом с избирательной урной, гитару на колени положил, слёзы покусанной лапкой по мордочке растирает. Кто за штору не заходит, первым делом интересуется: какой негодяй тебя в такой день обидел? Ведь такой день!

— Господь назначил меня на прошлой неделе Большими воеводой, а я певец, в грамоте не силён, законов не знаю, не согласишься быть при мне секретарём? — отвечает заяц, не теряя достоинства.

Быть вторым после Бога! Да что зайчишка какой-то, да я, Я буду Большими воеводой!

— Проголосуй за меня, я тебя секретарем беру, — обещает Садко.

Люди до власти падкие, что со зверей взять? — голосовали. Всех кандидатов долой, Садко — да!

И ведь прошёл!

— Господа, дамы, — объявляет итоги голосования сова Мышеедова. — Большинством голосов неожиданно прошёл заяц Садко. — И подмигивает, и подмигивает вновь избранному: ума у зайца щепоть куриная, обязательно её, сову Мышеедову, секретарём возьмёт. — Что ж, такова наша воля, присягаем Главному звонарю господину Садко.

Во, как! Жили сотни лет без всяких титулов, а заяц — Господин!

Звонит Осёл в колокол. Как все устали от этого звона! Уж и ноты Ослу подменяли — звонит, и горло перебили — молчи, не ори, не унимается.

Расходятся звери, разлетаются птицы, всяк зорко на других поглядывает: ладно, вот стану я Большими воеводой!...

А заяц — зной наших! Зайчих у него — сотни, терема островерхие отгрохал, лиса Мышеедова для него капусту выращивает, от злости на каждый кочан по пять раз на дню гусениц гадких кидает (чтоб ты сдох, Господин!), волк Обездоленный в большой опале у зайца Садко: лишен всех чинов и наград, сослан болото стеречь от нашествия комаров. Осёл колокол таскает, и звонит, звонит на всё энское зоосообщество...Рад — радёшёнёк Осёл.

Заяц Садко учёл промашки кабана Хрюкина. Он изучает действительность, говорит возвышенным стилем, носит модную шляпу, при нём базары пошли нарядные, праздничные, он радость своего сердца перекладывает на музыку гитары. Велел сове Мышеедовой переписать

Лесной устав: всем поститься обязательно! (Для примера взять жи-
тие умершего кабана Хрюкина). От сытости желудка распирает зайца.
Сколько искренней горести и тоски (из прошлого), певучего отчаяния
(из настоящего), трепета и воздушных поцелуев (из будущего) слышит
лес! И прирастает лес благостью, множится мир зверем и птицей, и гре-
мит колокол, наполняя пространство шумным дыханием трудяги Осла.

– Диплом первой степени дам! – кричит заяц Садко в самое ухо Ослу.

– Ась?.. Куда пойдём? – со смертельным испугом кричит в ответ
Осёл.

– От той сосны к этой!!

– На мясо-о?!

– Что с дурака взять... Звони! Лупи в колокол!!

Дядя Горбач (сказка)

Берега небольшой реки причудливо изрезаны бухточками, зарос-
ли высокой травой. Берега давно не косятся. Под многолетней прелой
толщёй хоронится всякая пожива для всяких зверьков. Река начинается
далеко в болоте – маленький ручеёк; спотыкается о коряги, торопит-
ся водица добежать до первого родникового ключа, родник ему силы
прибавляет, потом родники и справа, и слева вливаются в маленькую
речушку; всем скопом осилят добрый километр пути, речка уже подхо-
дяще зажурчит на перекатах, бодро запоёт, в далёкую дорогу собира-
ясь, начнёт резвиться – пену сбивать и мусор на лёгкой волне катать,
ворчать – камешки со дна вымывать. Не только одна трава запеленала
реку, падают старые деревья, образуя непроходимый бурелом, хозяи-
ничают бобры – роют свои сплавные каналы, строят запруды.

К вечеру по-осеннему захмурило и разошёлся дождь, неторопкий,
густой. Приехавший из города в деревню одинокий очкастый чудак,
вспомнил молодость: сорок лет не был дома, а сколько тогда, сорок лет
назад в реке было рыбы! А как в такие дни знатно клевало! Долго про-
бирався к воде, измазал в глине белые брюки, изжегся крапивой, изло-
мал зонт, стрясл очки и едва их нашёл, – да где она, река-то? и, повзды-
хав, вернулся к родным углам. Чуть шевелилась трава, издавая плаку-
чий шелест. На малюсенькой песчаной отмели жалобно посвистывает
постоянно кланяющийся куличок, будто приветствует и приветствует
дождь. С черемухи, наклонившейся над звонким перекатом, срываются

редкие листья. Всему своё время: вот подуют холодные ветры, закричат в небе стаи отлетающих птиц, и наступит промозглая долгая осень. Потом что-то могучее завоет вверху, подвернёт низом, и белая перина накроет берега; закружит большое белое колесо, словно будет растирать всё встречное в сон – дрему, и мир заснёт под тоскливые песни выюги.

А пока...

Над перекатом солнце ярится, пахнет прелой землей, жужжат мухи. Ниже переката большой глубокий омут, черное, отшлифованное водой дно омута блестит глянцем – очень удобная зимовальная яма. Осенью в омут скатится вся рыба, и будет стая смотреть сквозь толщу льда на долгожданное тусклое солнышко. Хариус пугливая рыба. Неумелый рыбак только взмахнёт удилищем – маленькие торпеды разлетелись какая куда, большая часть в спасительный омут, проходит время, хариусы возвращаются на жировку, делают «пробежки», успокаиваются. Хариус – гордая рыба, он как карп или сазан в тине – иле жить не будет, ему родниковую, чистую воду подавай. Верховодит в стае могучий, тяжёлый на подъём богатырь Кипун. У него свой дом – в корнях вырванной водопольем березы, возле самого носа в пене кипит и струится вода. Вся стая знает, что Кипун бьёт всякого, кто осмелится рвануться вперед его за добычей, потому, если Кипун сделал хвостом движение «мой выход», лучше не трепыхаться. Но в стае есть хариусы – бойцы, догоняющие в росте Кипуна, нет – нет да такой прожорливый, нахальный боец и опредит Кипуна, схватит плывущую стрекозу или кузнечика возле самой головы вожака. Кипун сделает хвостом предупредительное движение «не нарывайся!», боец, довольный и самовлюблённый, с виноватым видом медленно подплывёт к Кипуну, выгнется, подставляя бок и белое брюхо -- Кипун сделает хвостом ленивое «ладно, прощаю».

Есть в стае Горбун. Маленький, горбатый хариус. Когда он был чуть больше коробочки ручейника, большая рыба хотела его проглотить, но Горбун вырвался из цепкого капкана, а вот спинке досталось. Кровь тогда прилилась к его сердцу, мучительная боль пронзила всё тело. Он заплыл в тень сползающей черной коры березы, сжался, с ужасом ждал свою смерть. Сосредоточенно смотрел вдумчивыми глазами в одну точку – на маленького жучка, норовящего подняться по скользкому берегу на поверхность. Добирался до выступа, только бы бежать скорее вперед, а струя воды всякий раз сбивала его вниз. Мыслями отыскивал неуловимые звуки, которые принесут ему облегчение и ласково, чудно и скоро, обволокут большое тело сладкой песнью любви. Вот с той поры Горбач стал много думать, стал видеть где-то далеко, выше переката,

какой-то ему ведомый мир. Наступил момент, когда пытливый ум перешёл от внешних связей к внутренним. Он очень осторожен, пуглив, кормится остатками пиршества со стола братьев и сестер. Он стоит за хвостом Кипуна, прикрывается им как щитом. Горбун – «маленький мечтатель». Он мечтает вырасти больше Кипуна, мечтает занять место вожака, и тогда.... То он роется в торфяном иле под брюхом Кипуна, то схватит червяка, выплывшего из берега, но никогда не заплывает на перекат. Норой глядя на свой тёмный закоулок, он проникался сознанием своей робости и бессилия, что начинал плакать. Подплывает всякая мелюзга, дразнится, задирается, а Горбач смотрит на мелюзгу спокойно, доверчиво, даже любящие, с затаённой грустью журишь:

– Эх вы, обормоты несмышлёные.

Сильные самцы и сильные самки гоняют по омуту малышей. Мысли вихрем, с ужасающей быстротой несутся в голове Горбача: зачем? Зачем бить дитя, порождённое тобой? Он безнадежно оглядывается, встаёт рядом с пастью Кипуна, испытывает какое-то болезненное замирание, мучительно роется в себе, чтобы такое важное сказать вожаку и выдаёт:

– Полная несостоятельность системы воспитания.

Кипун молчит, пораженный непонятными словами, потом жгучая злоба охватывает его.

– А меня не били в детстве?!

И хватает Горбун за хвостовой плавник. Горбач бешено рвётся, но железные тиски ещё сильнее сжимают его.

– Дядя Кипун!.. Я больше не буду-у!!

Кипун отпускает Горбача, плюётся и встаёт в боевую стойку.

– Ты это...ты лучше молчи. Я голоден, я за себя не ручаюсь.

Горбач боится переката. Боится своих сильных братьев и сестер.

Тихо позванивает вода на перекате.

Села маленькая птичка на травинку – былинку, нагнулась травинка до самой воды, озорно и ярко блестевшей под ней, принялась пичужка раскачиваться да на свистывать, должно быть Бога славить:

– Фью-ить! Фью-ить!

Заслушался Горбач. От духоты и терпкого запаха прелых трав (харисы чутко реагируют на изменение окружающей среды), закружилась у него голова. Вдруг Кипун сделал хвостом «мой выход», поднатужился, бросок, травинка выпрямилась, а птичка-невеличка взмахнув на прощание крыльшками, исчезла у него в пасти. Горестно – осуждающее смотрит на Кипуна Горбач, а тот самодовольно усмехается.

– Жалко? – спрашивает Горбача.

- Жалко, – просто отвечает Горбач.
 - Пускай теперь в моём брюхе поёт.
 - Ты лягушек глотаешь, лягушки глупые, а вот птичка...
 - Ты радуйся, что я тебя не проглотил! Вот схвачу за горбину!..
- Страшно, инвалид детства? Ладно, не трону, сегодня я сыт и жизнью доволен.

Очкастый горожанин не раз и не два выходил рыбачить, но за сорок лет много воды утекло. Река стала другой, обмелела, где были большие омуты, теперь петух перебредёт, где была мельница, там люди тракторами натолкали с полей камней валунов, где был камешник – там тина да плесень: выпрямили люди русло. Нашёл рыбак перекат, присмотрелся, обрадовался.

Кузнечик прыгнул в воду в самом верху переката. Кипун шевельнул хвостом: «мой выход». Сильные и прожорливые хариусы дернулись было в атаку, но благоразумно остановились: Кипун яростно заворочал хвостом. Хариусы берут мух и разных насекомых бесшумно у самой поверхности воды. Бросок на жертву, но кузнечик почему – то рванул его за верхнюю губу и потащил из воды. С ним хочет сразиться противник сильней его?! Кипун рванулся, кузнечик как пискнул и перестал сопротивляться, и с кузнечиком на верхней губе, вожак ушёл в свой дом, в корни березы – тополяка. Кузнечик мешал ему закрыть рот, он кололся. Кипун рассердился, так и сяк ходил «в своём доме», но кузнечик сидел крепко.

– Дядя, Кипун, дядя!

Это Горбач встал перед пастью Кипуна, преданно смотрит тому в глаза, напрягается изо всех сил, чтобы сказать самое важное:

– Дядя Кипун, тебя хотят съесть! Я вижу лишнюю ножку кузнечика, эта ножка очень и очень крепкая. Можно я потащу её?

– Горбатый наглец! Таскать добычу из пасти Кипуна?! Да я тебя!..

Другой кузнечик шлёпнулся на воду. Кипун сердито заворочал хвостом: «мой выход!». Робкая душа пошла наперекор хилому телу: Горбач встал перед Кипуном:

– Дядя Кипун! Лишняя ножка, лишняя ножка! Не делай этого!

– Прочь, недоносок!

Кипун, увлекаемый неведомой злой волей, как вылетел из воды к самому радужному солнцу, упал между камней – на перекате к тихому звону реки прибавились шлепки, будто бобёр – бобрище сел между камней и забавляется, бьёт своим хвостом – веслом по воде. Каждый шлепок рвёт за самое сердце Горбуну, каждый шлепок терзает до самого дна его маленькую, честную душу.

Когда шум стих, на воду упал снова кузнецик. Горбач с ошелелыми глазами вырвался перед стаей:

— Это не еда, это наша смерть, братья и сестры!

Понятное дело, его никто слушать не стал. Мало того, он получил несколько увесистых тычков в бок. Сильные самцы осмелели: ага, Кипун смылся в омут, Кипун струсил, теперь **Я** вожак!

Напрасно Горбач просил, умолял братьев и сестёр не хватать валяющихся в реку насекомых. Хариусы друг перед дружкой показывали чудеса акробатики, за добычей кидались дружно, отталкивая один другого. На перекате не смолкал шум бунтующей воды. Горбач с ужасом видел, как редеет стая, что кузнециков уже теребят малыши, появившиеся на свет этой весной. И тогда он стал бить малышню хвостом, подтыкать головой, гнать ближе к омуту.

Едва началось утро, Горбач осмелился выйти на перекат: пусто. Нет дяди Кипуна, нет других сильных самцов и сильных самок. И заплакал он с горя. Поплакал, встал на струю перед самым омутом. Только резвый малыш вылетит на быстрину, он того обратно на омут гонит.

И стали все величать Горбуну «дядя Горбун», и по праву он занял жилплощадь Кипуна в корнях березы – топляка.

И год прошёл, и другой минул, а, может быть, и все пять протекли. Вырос дядя Горбач, перерос Кипуна. По-прежнему жиরуют на перекате хариусы, стая разрослась, сплотилась, хариусы знают свой час кормёжки: ранним утром и поздним вечером, а середкой дня – все в сонной дрёме стоят в глубоком омуте. Выскочек вожак дядя Горбач не любит.

Заяц в ходоках.

(сказка)

В одном Богом забытом лесном хозяйстве не везло на воевод. Только до казны добрались, и давай грабить. Или сопьются. Или подружками обзаведутся с сомнительной репутацией. Зверьё пребывает в небытии: кто сегодня у кормила власти? Кому налог платить, кого сожрут вне очереди? Некоторые медведи по второму заходу в воеводах пребывать стали. Такому только бы ярлык на княжение заграбастать, он ходы – выходы знает, ну и пошел терзать народишко лесное, такому и черт не брат. Пробовали волков выдвигать на руководящий пост, да разве из волка воевода? Серая видимость. Ни тебе почтения, ни уважения, ни твердости в политических решениях, чуть что опять кулаком соседу

грозит. Ропот идет по лесу. Всяк под себя положение гребёт, кто кому мзду даёт. Штрафы, налоги, подати, оброк, всякие таможенные сборы, а простой народ одежонку старую латает, рукав к штанине пришивавет. Волчицы воют: за что страдаем? Совы анонимки строчат в Прокурорскую Контору. Зайцы осмелели: за что там в Главной Канцелярии вовсе с ума посходили? На дворе март, сезон жениться подошёл, а без разрешения как женишься? О группе крови толкуют, о наследственных генах, предполагаемые тещи зубоскалят о каких-то испытательных сроках, а сердчишко огнём горит, костерком страсти пылают, того гляди скоро снег сойдёт. Старые драные лисами зайцы молчат: сами безответчицей выросли, вроде и ум есть, и силенки, даже совесть по кустам не растеряли, а теперь все от законов зачумелые, законов – пруд пруди, огород городи... да ну их, с институтами и с заграничной помощью. Вызывается один заяц ходоком. Отъел морду в воеводской казенной роще. Галстук нацепил, штаны моднящие, – давно косой метил занять место хранителя рощи и посвататься к вдовушке лисе. Согласись лиса на брак, он бы всё племя заячье за пояс заткнул. Заявляет во всеуслышанье, что нет порядка в хозяйстве, кругом беспредел, он за твердую руку, за Конституцию свобод и браков, и детишек своих будет воспитывать за границей. Зайцы согласились: твердая рука нужна, а вот про заграницу, регистрацию браков, визовое передвижение, и прочее... Нам бы чого попроще, без выкрутасов.

До Бога высоко, до царя далеко: и мерз, и голодал ходок, лапу занозил, от легавых увернулся, под выстрел охотника не попал, от голодного волка ускользнул. У Главной Канцелярии дух перевел. Музыка, свет, зверье всякое парами и в одиночку сытое шастает, лиса расчесывает шкуру тигра и смеётся, смеётся... Иностранный волк с нашим медведем в бане парятся, один другого вениками хлещут, оба без галстуков, но оба в кальсонах. Обалдел заяц. Возможно ли такое? Какая-то неземная цивилизация, а где стражи порядка, где юстиция? Возможно ли дурью заниматься и пребывать в праздности? А у них в глубинке дорог нет, освещения ноль, нищета как в колхозе, угодья силой отнимают... и текут слезы по щекам зайца. Подошел к дремлющему льву, поздоровался вежливо превежливо, просит вразумить его, сон он видит или явь. Лев позевал, снисходительно разрешил сказать, чей он да откуда. Горько зайцу за свою опоганенную родину, и про лису вдовушку забыл, и про бахвальство своё, про Конституцию свобод и браков, защемили его сердце вычурная благопристойность да показная роскошь. Стал он сканывать, как сгорела у них кондитерская фабрика, а виновным признали

глупого Ежа, признали и шкуру содрали. И про шашни воеводские, про иностранные транши, про заграничные турне, про грабежи да наезды. Старухи на пенсии долго не живут, голод кругом, беспризорщина. Удивляется лев: быть того не может! Это в его Вотчине?!... Заяц пуще, что и дядя родной по матери знал, и то не утаил. Ведет Лев Зайца в отдел статистики, подняли с постели заведующего, Шакала Пятого. Как пошел завотделом цифрами крыть, у Зайца челюсть отвисла. И зарычал владыка Вотчины:

— Меня, Льва Справедливого, гаранта свобод, наследного боярина обманывать?! Что послы заграничные подумают?

Страшно Зайцу, из последних силенок попросил Льва Справедливого сверить показания Шакала Пятого с данными электронных машин, — хоть и глуши жил, а прогресс понимал.

— Ладно, уважим, — снисходительно говорит Лев Справедливый. — Подать сюда программистов!

Программисты сплошь дятлы, лишь главный программист Селезень Стреляный. Какого умника из кабака выдернули, какого с пляжа голым притащили. Грозится Лев Справедливый всем оторвать головы, в сей же миг заложить данные в машины! Программисты клювами щелкают, шушукаются на своём птичьем языке, кто у кого трешку взаймы просит, кто кого на именины приглашает, а Лев Справедливый уселся в кресло и задремал. Шакал Пятый недвусмысленно намекает программистам, что виной всему «косоглазый», разворовавший ихние палестины. Заяц смекает, что быть ему чучелом в кабинете зоологии — эти программисты... рад бы сбежать, да в дверях два кабана с дубинами стоят.

Спешит куда-то мышка — мышек часто держат на побегушках, видит плачущего зайца. Кокетка была мышка. Сделала премилую мордашку, по губкам карандашиком мазнула: по какому случаю слезы?

Говорит ей Заяц, что надумал справедливость искать в Главной Канцелярии, да по всему видать жизни лишится.

— Хотел на лисе жениться, хотел по иноземным законам жить. Там, за морями, в моде такие браки!... Слониха, например, живёт с ишаком.

— Слониха с ишаком! — хохочет мышка. — Глупее ничего не придумали? Там воры пишут законы для воров. До нас эта пакость ещё не дошла, — глубокомысленно говорит мышь. — Демократии захотели, справедливости... Держи карман шире. Хочешь, помогу?

— Как же ты поможешь, ты такая маленькая, такая ...

— Обещаешь, как будешь воеводой, назначишь меня завскладом? Детям потомственный титул, хороший оклад, пенсии по старости?

— Все, всё обещаю! — заверил Заяц и в порыве благодарности расцеповал мышку.

Прибегает мышь к главному программисту Селезню Стреляному, так мол и так, воевода одного дальнего лесного хозяйства приглашает на отдых на великолепное чистое озеро.

— Неужели еще есть такие озера? — усомнился Селезень Стреляный.

— У нас все есть, дорогой ты наш праведник. Народ птичий тебя не-подкупным величает. Приватизировать не успели, заграница не берёт — далеко, а какие там заводи, а какие камыши... — выпевает Мышь.

— Говори, говори, что я должен сделать? — загорелся Селезень Стреляный.

— Сущая ерунда: пусть твоя машина напишет, что потомственный князь заяц Хромая Лапа назначается воеводой в лесное хозяйство Главной Канцелярии. Лев Справедливый гарантирует неприкосновенность, разрешает всему зверью вольно жить и плодиться как деды жили и плодились. Написал? Слетай, пускай Его Величество Бревно распишется.

И все. Живёт Заяц воеводой. За чистоту старинного уклада держится. О женитьбе на лисе даже не думает, зайчих молодых около него хоровод. Волки таможню несут, мышка складом продуктовым заведует. Селезень Стреляный на озере дачку отгрохал. Хлопочет в ООН о правах потомственного владения и присвоения прозвища Неподкупный.

Живет Хромая Лапа, научился пыль в глаза пускать, опыт, слава Богу, заимел.

Золотой

Механизатор широкого профиля Гордей Лосев колет на своей улице дрова. Помахивает колунчиком, что Илюшенька булавой, с протяжкой. Поставит чурку на «попа», приноровится, по какому месту садануть, ну и саданет. Другую поставит, дух переведет, на пустынное поле посмотрит, вдоль деревни глазами проедется — и опять вдарит. Раньше, бывало, час не знал как выкроить на разделку этих самых дров, а теперь вольному — волюшка. Седьмой день бригадир за порогом не бывал, а чего ему над душой стоять, коль топлива нет, запчастей нет, а деньги председатель — бедолага кует около Воркуты: маслом сливочным промышляет, копеечку добывает. Не жизнь — прянник медовый. Был на днях государственный человек, где-то около Вологды отирается,

мужики и насели на него скопом: это к чему же дело идет, коль колхозы под нож пустили? Помассировал тот человек трехэтажный подбородок, снисходительно-покровительственным тоном принялся вещать, как старый ворон, про союзников перестройки, большие заграничные кредиты, про фермерские рычаги.

— Так это, выходит, кто куда? — спрашивают мужики.

— Да Бога ради! Вот был я в Канаде...

Гордей Лосев со товарищи в Канаде не были, в заокеанскую сказку не врубились, потому человек отбыл из глупой провинции разочарованным.

На противоположном краю деревни появились две легковые машины. Одна — белая, другая — красная. Из них вышли женщины с большими рюкзаками, мигом рассыпались по деревне. «Эхе-хе, — сдвинул шапку на затылок Гордей, — цыганье пожаловало». На цыган Гордяя прямо-таки тянуло. При виде их какой-то бесноватый демон заводил его, как заводят пружину патефона, и не отпускал, пока не разыграет всю программу. Антипатия появилась в детстве, когда старая цыганка увидела на руке матери смерть сына в колодце. Гордей с тех пор панически боится воды, и всякий раз, когда появляются цыгане, его подмывает опровергнуть предсказание. Он не был иезуитом, но это христовальное племя считал паразитами народа.

Весной он брел в ремонтную мастерскую. Осенние колеи выбуханы до пупа; ни дорогой, ни стороной по ноздреватому снегу. Навстречу идут три молодые цыганки и цыган. Ноши у них тяжелые, скрючило их как верблюдов.

— Кормильцы вы наши, поильцы вы наши, — изображая большущую радость, возопил Гордей — Не иначе сам Господь Бог указал вам путь в нашу пустыню!

А сам норовит поцеловать полновесную некрасивую цыганку с глазами навыкате и носом загогулиной. Фуфайка на нем насквозь мазутой продезинфицирована, подноси спичку — факелом вспыхнет, брось в воду — век не утонет. Цыганка отворачивается, руками его отодвигает, бормочет что-то сердитое на своем языке, а ноша ей мешает, а глина ноги спеленала что цемент — осилил охальник, чмокнул раз, приложился другой; женой бы взял, да сердце другой занято. Держится за женщину, одаривает далеко не изысканный выбор свой нежной улыбкой. Зарделась толстуха, сомлела, маковым цветом расцвела среди грязной дороги, перестала его отталкивать.

— Обносился весь, срам прикрыть нечем, родные вы наши...

Расчувствовался цыган, снял с загривка перинник, начал вынимать товар.

Сбросил Гордей фуфайку прямо в колею, бродни снял, на фуфайку ступил. Отвернулся от дам и брюки – долой. – Стоит в одних трусах на весеннем ветру, цыган знай подает, а он примеривает.

– Эх, и добры штаны... а те вон вроде лучше, лучше...

– Бери, бери, золотой, – приговаривает цыганка, поддерживает его за локоть, когда он скакет на одной ноге. Прищелкивает цыганка языком от удовольствия. То ли лестно ей, что мужик ее облобызal, а не подружек по бизнесу, то ли то, что товар пошел, не доходя еще деревни. Все перемерял Гордей, в свое рванье оделся, виновато посмотрел на цыгана.

– Эх, душа моя, все бы купил, да купило кошка отступила.

Пожаром в августовской ночи полыхнули глаза цыгана, гыр-гыркнул на толстуху, по-русски обломил матом. Разошлись как подводные лодки, каждый взял свой пеленг. Оглянулся Гордей – бодро идут, толстуху впереди гонит, дорогу проминает остальным.

Рассказал в мастерской мужикам под веселую ногу о своей проделке, слухи дошли до жены Насти. И появились у нее симптомы аллергии на сивушный запах. Стоило ботнуть стакан водки, как из нее, что из помойного ведра, лились нечистоты. Жена кляла всю непутевую родню Гордея, вспоминала цыганку, предлагала взять шапку в охапку и ехать аж до Магадана. Летом аллергия развилась до трехмерного изображения, гостили старший брат, потом – младший, потом – шурин с Урала, дядя из Киева. Все мясо съели, три ящика водяры опорожнили. Осенью косяком пошли советские, религиозные, государственные праздники, а как отгуляли Николу-зимнего, жена сгребла обеих дочерей и подалась к матери в Каргополь. Гордей против не был: пускай проветрится, но зачем оставила ему стельную корову, которая вот-вот опростается?.. Живет бодялем, злится на жену, потому в избе не прибирает и кошек не гоняет. Затхлость, вонь, запустение...

Колет дрова Гордей, а сам фиксирует, в какой дом сбегали цыганки и как долго в нем пробыли. Тут лихо подлетает к нему белый «Жигуль» и у самых дров придумывает дать лихой разворот. Жж-жжии – и сидит на брюхе. Вышел цыган молодой, высокий, усы – как два серпа отбитых, заглядывает под машину, ни здравствуй, ни прощай, командует Гордею:

– Талкай, чего смотришь.

Не по сердцу пришлось это Гордею это «талкай», холодом колодца опахнуло от слов.

– Черт на попа не работник.

Гыр-гыркнул цыган, сел в машину, газовал, газовал - вылез.

– Дай лопату, земляк.

– Какую, мой черный брат?

– Железную.

– Вон в углу стоит... Часа через два обязательно поставь на место.

– Пачему два? Пачему, земляк? – встревожился цыган.

– Осенью я как втряпался тут, меня двумя тракторами тянули.

Не поверил цыган, весь снег выгреб, распарился шубу – романовку на чурки бросил сел рядом с Гордеем, сказал зло.

– Будь проклят тот день, когда я праменял каня на эту ванючку!

– Твоя правда, – согласился Гордей, – лошадь что: витнем огрел по хребтине – из хомута выскочит, а тарантас выдернет.

– Какой конь был, какой конь! Отец стригунком выменял, беречь за-вещал, а я... в саседнем калхозе на каня и быка-трехлетка праменял.

– Да ну?

– Эх, мало взял... Такой конь!

– Как же это ты облапошил так сумел? Ну и деляги. Правда, что лошадям золотые зубы вставляете?

– Клянусь атцом: да! Если бы тот плешивый с пятном на башке не сбежал, этот, Мишкой – камбайнером завут!.

– Вовремя сковырнули. Что, хочешь выкарабкаться?

– Земляк, пажалуйста...

– Шубы не жалко? Обдуришь кого-нибудь, чего жмешься?

– Бери, чтоб ее собаки порвали!

– Да не мне, под колесо подложить

Выехал цыган, выбил из шубы снег. У нее оказались оторванными рукав и воротник

Подошла толстая цыганка, весенняя знакомка Гордея, узнала его, улыбается.

– Давай погадаю, золотой, что было, что есть и что будет – скажу, все вижу...

– Давай лучше я тебя научу гадать, деньга сама пойдет, – говорит Гордей. – Ты вот усатая – за тобой грешки водятся, в изрядных телесах – детей у тебя нет, глаза большие – сердце твое свободно от мужика, любишь визжать и сплетничать, характер покладистый, но вспыльчивый, торговать ты не умеешь, тебе бы по хозяйству управляться – самое то.

– Он тебе сказал? – сердито тыкая в стороны руками, говорит цыганка, ставит перед Гордеем полутощий рюкзак. – Мой муж умер, ясно тебе?

Цыган часто мигает, приподняв густые брови, вопросительно смотрит на Гордея

— Перестань, у меня на это дар от Господа, — говорит довольный собой Гордей. — Вот покажи, в какой дом ты ходила, а я скажу, чего ты там продала и на сколько.

— Знахарь, — поджимает губы цыганка, — ну вон тот, где собака маленькая, а злая?

— От силы тыщ двадцать пять выцыганила, а продала кофту.

Цыганку чуть не хватил апоплексический удар, настолько точно угадал Гордей.

— Душа моя, — говорит Гордей низким придушенным голосом, во-жделенно глядя на цыганку, — брось ты эти копейки, займись тем ремеслом, что природа тебя наградила: вымой у меня пол в избе — и будешь довольна.

Злой демон опять начал беситься внутри Гордея. Он не пропь разговеться, он все же мужик и все мужское ему не чуждо. Месяц живет без женщины, а деревня — не город, женщины на углу не стоят.

Цыганка говорит что-то цыгану, тот усмехается, пожимает плечами, хмыкает и идет к машине. Она говорит ему что-то гортанное, цыган даже не обворачивается.

Не сразу цыганка схватила тряпку и ведро, она как экскурсант, принююхиваясь крючковатым носом, обошла избу, при виде неприбранной постели с простынями жгутами игриво спросила:

— Илоха спиши, золотой?

Гордей осмелел в греховодной страсти, змей — искуситель принял шептать ему на ухо, чтобы лишка не рассусоливал. Взял цыганку за руку, притянул к себе.

— Не спеши, не спеши, золотой.

Чувствуя себя на небесах от легкого счастья, Гордей слетал в магазин, прикупил винца, колбаски, достал из подполья банку тушеники и огурцы.

— Иди работай, золотой, работай, — попросила цыганка

И заходил колун в руках Гордея, эдак палица у Илюшеньки не хаживала. Во всем теле он ощущал нетерпение, содомская потребность горячила кровь.

Вспомнил о корове, сбегал проведать

Притопала беба Шура, пощупала у коровы задние кости, приговорила:

— Скоро отелится, не проворонь. И послед чтобы не съела, смотри.

– А доить, а доить как?

– Руками. Да что тужишь, вроде у тебя доярка на дому.

Баба Шура – красивая полная женщина, лета ее определить трудно, но держится всегда молодой и любит подкузьмить.

Гордей покраснел под смешливым взглядом, вся его фигура превратилась в пустопорожний чучун.

По всей улице шел дерущий нос аппетитный запах, приготовила цыганка что-то вкуснейшее. «Хорошо Настя тушенку варит», – подумал Гордей и засовестился, чужая баба хозяйствует вместо Нasti, притом цыганка!

Выпили по стопке, по второй чокнулись. Горит Гордей от нетерпения, забыл про нравственность. Подъезжает к толстухе то с одного, то с другого бока, а она жеманится, ласкать позволяет, а дальше не пущает. Не приведи Господь, муки Тантала были не под силу Гордею. Он был похож на лошадь, которая видит овес, но не может дотянуться до него губами.

Пришла баба Шура, от порога сказала.

– Пить пей, да ум не пропивай: скоро воды отойдут.

Посидел, сбегал во двор, не висит под хвостом пузырь водяной – и скорее к цыганке. Так часа два мучился. То баба Шура мешает, то к корове бегал.

А ту как застопорило, то копытца покажутся, то назад спрячутся.

– Да что ты в самом-то деле! – закричал Гордей. – Телись!

Выпучила корова глазищи, с немым укором смотрит на хозяина.

Цыганка смолит сигарету за сигаретой, смотрит «Поле чудес», на приставания Гордея – ноль внимания.

Кричит от порога баба Шура.

– Тянуть пошли, задохнется телёнок!

А под окном машина сигналит.

– Ой, меня ищут, – спохватилась цыганка и начала одеваться.

Перематерился про себя Гордей, недовольный, поплелся за бабой Шурой.

– Посмотри, посмотри, как бы не слямзила, – шепчет баба Шура.

Гордей в сердцах плюнул на стену, пошел вон.

– Смотри, Настя не похвалит. Дойди, пощупай.

А цыганка уже на - пороге сама и с маху вешается на шею Гордею.

– Ты сердит, золотой? Ты жди, жди, я скоро вернусь.

Смотрит Гордей, вроде сумка у нее разбухла?

– Ты это... ты куда?!

– Жди, золотой, жди!

И бегом к машине.

Вихрем влетел в избу Гордей, раскрыл шифоньер – сиротливо сгрудились в углу голые плечики, ни шубы Настиной, ни платьев дорогих. Побежал на улицу, выхватил по пути топор из-за топорника Смотриш, мелькают на другом краю деревни красные огоньки. Изо всей силы всадил топор в стену, погрозил в темноту кулаком.

– Облизнулся? – смеётся баба Шура – Думал пощипать, а самого оципали? Во, мычит... ну, слава Богу.

Как Жуков на ярмарку ездил (бухтина)

Представилась бабка Павла, склонили чин – чинарём и поминать стали. Хорошая была бабка, к людям с душой, лишнего не брякала, на собрания ходила. Одна как перст жила, коз держала. Много народу пришло на поминки. Бородатый и волосами богатый Николай Жуков могилу копал, ему почет и уважение, сразу под образа затолкали. Бригадир вспоминал сенокос – в золотую пору бабка Павла валила траву что жнейка; бабка Курлыкина – соседка по левую руку (хорош сосед за высоким забором) качала головой – все тебе, Павла, на выхвалку надо было, хоть на займы подписываться, хоть на сплав идти, из – за тебя и мы страдали. Соседка по правую руку хохотушка Наталья рассмешила народ бывальщинкой, как они в бане с Павлой мылись; Жуков к хорошей душе покойной притянул и землю хорошую, в которую положили бабку. На столе в траурной рамочке стояла бабкина фотография: бабка Павла прищурила глаза, мол, давай, язык без костей, собирайте, я послушаю. Прищур не нравился пологотой кладовщице Мотьке Ишовой: когда понесли покойницу на машину, Мотька заорала голосом мужским прокуренным: «Куда ногами-то тащите, головой поверните». У мужиков слабость в ногах появилась от такого окрика, вроде раньше ладно носили... Сейчас Мотька сидела как раз напротив фотокарточки покойной, хмыкала во всеуслышанье: надо же, ум за разум зашел с этими похоронами.

– А редко народ мрёт, то всякие запуки и забываются, – говорит беспечная Мотька. – Хоть бы мор какой напал, тогда... я молитву с пелёнок учу не могу запомнить, а тут... от табаку что ли?

Поднабрался Жуков. Закодирован был, пять лет капли спиртной за губой не бывало, а тут понесло. Жена злобится, в бок локтем тычет, а он плясать порывается. Председатель сельсовета говорит про машины: что кабы бабка Павла дотянула до ста, ей бы первой из сельсовета бесплатно американского вездехода дали. Соседка Курлыкина кляла рыжего Чубайса: она-то ваучер на мешок сахарного песку обменяла, а Павла посовестилась, ваучер в музей отослала. Бригадир пустил слезу – жить бы да жить Павле, сейгод созвала его острови заткнуть – заткнул, ста граммов не выпил. «Все знаете, какое лето было, едва ломом лунки пробил. Жалость меня заедает, как вижу народ беззащитный». Бабка Курлыкина тихонько сказала бригадиру, чтобы не спешил Павлино сено на телятник везти, за такое сенцо и рыжиков не жаль, и водочка найдётся.

Потянуло Жукова в сон. Отвык от спиртного. Сладостный дурман обволок пышностью оконные рамы, печь с вырезанными на боку цифрами 1917, прибавила воздушной легкости озирающаяся бабка Курлыкина... Цифры отнесли его в клокочущую пучину революции – пушку – то матросы в самую душу наводят! Читает про себя стихотворение: «...бежит солдат, бежит матрос, стреляют на ходу. Рабочий катит пулемёт...» Состояние удушья, состояние страха... Рванул на груди рубаху – фу ты, черный ухват на кожухе качается, последний переход у ухвата из Времени в Вечность. Закурить бы, да папиросы не знает где. Долой печали! А хороша Мотька, черт бы её побрал с её толстыми губами и неподдельным блеском в глазах! Глупая, да все глупые бабы до секса жадные. Все домой пошли, спит Жуков под образами. Жена рукой махнула: спи, дьявол с тобой. Пока не пил, какая радость была, теперь опять пойдут свары, опять начнет муженёк вещи в окошко выкидывать.

Зря она дьявола помянула. Только люди за двери, дьявол о двери; явился Сатана, губитель душ человеческих, сдернул Жукова с лавки на пол, всю посуду с поминального стола смахнул. (Под шумок сперла бабка Курлыкина с божницы Николу Угодника, лишился дом защиты). «Давал клятву вина не пить до смертного часу?» – спрашивает Сатана. «Давал», – поник челом Жуков. Во рту сухость, рукой – ногой пошевелить сил не имеет. «Не забыл, как в Михайлов день вёз нетель на автомашине?... Не мнишь, вижу, что помнишь. Тогда я вместо шофера за руль сел, я с подножки кричал вам, стоящим в кузове с нетелями: «Хо! Хо!» Выпасть первым из кузова ты был должен, ведь ты стоял у самого ко-

ровьего хвоста, но я поменял тебя местами с Мишкой Кожевниковым, и именно Мишка смерть принял, его на выбоине нетель вышибла вместе с досками борта, а ты... Ты!» В ярость вошёл Сатана неописуемую. «По обету назорейскому, давшим клятву вина не пить, волосы брить запрещается, в дом с мертвым телом не входить, на похоронах не присутствовать. Ты нарушил свое слово, потому вместо лошади повезешь меня на ярмарку! Слышишь, брюхо житное?!» Тут и дровни нашлись, и хомут подходящий, и кнут ездовому: плеточка – семихвосточка. Оставил Сатана Жукова в одной рубахе; мороз дыхание леденит, ноги тепла не чуют.

Машисто идет Жуков. Ездовой в дровнях приподнимется, как обжарит плеточкой – семихвосточкой лошадку от ушей до задницы!.. Взвоет Жуков от боли и того ретивее катит. Напропалую несется, кустики мелкие своим телом ломает, через камни- валуны лётом летит. Вроде местность знакомая, вроде летом коровы тут паслись...вперёд! некогда оглядываться.

Костер. Огонь до неба. Угрюмые мужики в черной одежде вокруг высунувшейся из земли трубы сидят. Увидели подкатившие дровни, вскочили, Сатану к огню на руках несут. Жуков дух перевёл, смекнул, что горит в трубе нефть русского олигарха и ни чуть не пожалел нефти. Чтоб, думает, скорее газ да нефть кончились, тогда и олигархи выгорят. Разрешил Сатана угрюмым мужикам поразвлечься, по очереди на нём кататься. Станет Жуков лениво перебирать ногами, вытянут по спине кнутом. И круг за кругом, круг за кругом. Один мужик лихачит на Жукове, остальные у огня кричат, спорят, кто ножовкой трубу пилит, кто во всю Ивановскую цены заламывает. Нет, думает Жуков, это не орда монгольская, это чужая рать. Я много на себя взял, и враг напал на меня, и завертел, и бросил в бездну без стыда. Выпряжен Жукова, лопату подали. Копай, велит Сатана, копай без раздыху семьдесят седмин или пока жена твоя не принесёт жертву. Копает Жуков как бы под картошку, а сам гадает: велики ли семьдесят седмин и чего жене не жалко за него отдать? Корову не отдаст – корова для нее что подруга верная. Трактор зятю отдаст, рада зятю угодить да и зять на трактор глаз положил. Оба его смерти обрадуются. Стиральную машину тоже пожалеет. О сберкнижках министр товарищ Павлов позаботился, до копеечки вычистил. Много чего умом перебрал, остановился на отцовском тулупе. Пить Жукову охота, а попросить боится. Оглянется на мужиков у огня, так

бы и сбежал, да ведь догонят... Слезы по щекам бегут. Смотрит, стоят три мешка сахарного песку, маркировку хохляцкого завода изготовителя прочитал явственно написанную. Мужики в те мешки наплевали, на-гадили, быстро неси, велят, мешки бабке Курлыкиной. Ей три года жить осталось, пускай пьёт чай не скучится. И как плечи три мешка выдер-жали, как ноги не подломились, себе не верит. На крыльце Курлыкиной бабке скинул, до своего дома рукой подать, а мужик сопровождающий в обратную дорогу разворачивает. Заартачился, упал и лежит у дома бригадира. Бригадир на улицу вышел в одних кальсонах, помочился на него, поверженного, «поминальник» свой достал, читает записи. Много гадского материала на него накопил. В одном месте Жуков схалтурил, в другом надул, в третьем оболгал ближнего колхозника, и надо повесить его как предателя Иуду на осине. Не раз у Жукова с бригадиром раньше стычки бывали, — дай этому дармоеду власть прокурора или началь-ника милиции, весь колхоз жизни лишит. Жалкое положение жертвы, нестерпимая тяжесть, презрение к самому себе, эти и прочие причи-ны наполнили глаза Жукова влагой. «Согласен дровни таскать на себе до скончания века, только повесьте бригадира на колхозной kontore, — просит Жуков мужика. — Пусть он сдохнет раньше меня». Захохотал мужик, по плечу приятельски хлопает. Был он как бы в чалме, нос све-кольный. «В масть козырьей положил! Низко пал! Почти что пряником на сковородку. Любим мы забавы да игры. С древнейших времен лю-бим смертельные схватки и боевые состязания, особенно драки людей в грехах запинающих». И погнал мужик бригадира вместе с Жуковым. Тот было «поминальник» бригадирский швырнул в кусты, так мужик подобрать велел. Откуда-то Мотька Ишова взялась с пулемётом, как за-кричит дурным своим голосом: «Куды по моей капусте леший несёт?» И сгинула.

Похвалил Сатана своего подручного за смекалку, чалмой его свою поганую личину утёр, велит бригадиру — праведнику драться с греш-ником Жуковым, да не воздух бить кулаками, а на полное порабощение тела противника. «Победителя обращу в жеребца, и будет тот жеребец началом новой и сытой колхозной жизни».

Крепко дрались бригадир с Жуковым. Бригадир Жукову бороду про-редил, Жуков бригадиру несколько зубов выстегнул. Весело Сатане и его подручным, ставки делают, пари заключают. «Вот бы, — думает

Жуков, – бабу бы мою сейчас... ручищи у нее будь здоров. Корова растягиваться не могла, вчетвером теленка тащили не могли вытащить, она одна вытащила».

Скрипит что-то очень даже похожее на скрип половиц, недовольный голос жены:

– Бесстыдная рожа! Алкоголик!

«Победил гада! – чуть не кричит Жуков. – Жеребец я теперь!»

– Ну-у, – и пинок под ребра.

Разлепил глаза – под порогом крючком лежит, борода засохла винегретной отрыжкой, грозным утёсом жена над ним нависла и тулуп отцовский в руках держит. Выкуп, значит, принесла. Себя ощупал – нет, не жеребец он, приснилось ему, как Сатану на ярмарку возил, обрадовался, вскочил, тулуп на плечи и домой побежал. Жена следом.

– Бригадира ночью на «скорой» увезли. С печи упал, ребра сломал.

Споткнулся Жуков, со страхом на деревню смотрит: не сон был... Побежал обратно в дом Павлы, тулуп под образа кинул.

– Бери! Бери и отвяжись!

Ножницы бабки Павлы со стены снял, бороду перед зеркалом окорнал, волосы в печку за заслонку положил.

Назавтра Николай Жуков поехал в Вологду к врачу Куликову. Кодироваться.

– Просужий мужик, – судачат у колодца бабы. – Олигархом бы выбрать, колхоз в силу войдет.

– Тю, соловая! Куды ему... Телевизор не смотришь? Да олигархи сплошь ворьё. Ты в районе глянь, глянь, где теперь наши организации разворованные, выбрать... Каждый раз выбираем достойного сына народа, да раз от разу сыновья больно ушлые излаживаются. Как бы ободрить нас, а там и в депутаты.

– Где-то воры, у нас, милая, уважаемое сословье. Кто на «день деревни» два ящика водки привёз? Так -то, и крыть нечем!

Как мы бегали (рассказ колхозника)

Расшевелил народ товарищ Горбачев своей войной с зеленым змием. Без войны мы жили подходяще, солнце встречали да солнце провожали, из застоя не только коров вывели, сами вышли, крыши шифером одели, председателю «Волгу» завели, Горбачеву поход подавай, процесс и наступление. Война без жертв не бывает. Чаще всего падают сраженными лучшие из лучших. Одна беда не ходит, где одна там и другая прилепится. У нас на днях такое творилось!.. Газеты пестрят тревожными заголовками о неизбежности столкновения кометы Галлея с матушкой Землей, радио бубнит о последствиях катастрофы, секретарь парткома строчит доклад о смешании языков и вер... Собирались с мужиками, кумекали на трезвую голову. Склонялись к тому, что пускай комета хряпнет в землю, только не у нас, а гденибудь ближе к Москве или около Вашингтона. Нас качнет немного, авось колхоз заживет лучше после качка, да и капиталисты окаянные окажут посильную помощь. Уповали мы тогда на Запад, на Западе книгу товарища Горбачёва выпустили, хвалил Запад ставропольского комбайнера за его мышление. Доярка косоглазая Палагея вихрем ворвалась со своими прогнозами:

— Видение было! Вдарила каменюга в колхозную контору!

Мы с мужиками прикинули на трезвую голову: от конторы до нашей деревни рукой подать, это как большущая каменюга вдарит, да не приведи Господи ночью... Не у всех родственники в Канаде, у нас с отцом их точно нет. Колхозник не какой-то пролетарий, тот спросонья цепь схватит свою пролетарскую и бежать, а у колхозника добра до выгребу, порошины жаль. И началось!

Сам видел, как соседка вылетела на крыльце голая, руки заламывает:

— Господи-ии! Да что же такое? Иванушко, выкатывай мотоцикл! Бежим!

Я топорище в сарайке тесал, после такого вопля не до топорища стало, всё нутро встрихнулось. У соседей хоть мотоцикл есть, я на чем побегу, на стельной корове?.. Комета ты, комета, ни раньше, ни после понесло тебя на нашу деревню. Нет бы валиться на соседний колхоз, или на райком партии... В избу кинулся, туда-сюда, барахла много накопили, надо бы всё спасать, а чего самое дорогое? На жену рявкнул, та давай в мешки чугуны, чашки-ложки складывать. Отец в годах, с клюшкой по деревне ходил, вроде нога прибаливает – степенство себе

заводил, тут видит – не до степенства, про клюшку забыл, тащит из клети тулуp, валенки. Кричит мне, чтобы изничтожал всё, что унести не сможем, такой приказ в войну был товарища Сталина. Я трезвый был, а ум будто ветром унесло. Стол ломаю, жена ревёт да перины вспарывает, бабка на коленях стоит перед иконой... Люди ладно, существа умные, и петух одурел: кур загнал в сарайку и раздевает бедных. Кот Мурзик отомстить решил напоследок псу Шарику, вцепился лапищами в морду... Мать хватилась – поросёнок некормленый, а отец нож, в тряпку завернутый, с полатей достаёт. Ничего врагу не оставим!

Шевельнулась деревня: эвакуация! Косоглазая Палагея во всех бедах сразу обвинила бригадира. Будто видение ей было: лысина у бригадира волосом покрылась, раньше вылитый был Никита Сергеевич Хрущев, а теперь негра черная. Бригадир с реки шёл, белье выстиранное на коромысле нёс, Палагея и налетела, покажи да покажи. Отбивается бригадир, корзины кинул со страху под ивовый куст и бежать. Не первый раз Палагея домогается, чего-то показать просит.

Свист по деревне, крики да вой. Выскакиваем всей семьей, глазам не верим: голь на выдумку хитра – дядька Демид козу в дровни запряг, телевизор кинул и галопом пошёл. Он такой этот Демид, примаком в дом взят, как в готовый лапоть ступил, тещиного добра не жаль. Мы вот с отцом своим горбом богатство завели, гвоздь ржавый в углу торчит да он наш гвоздь-то.

- Скатерть взяли?.. А дугу?.. Устюгскую, выездную!!
- Отец, дозволь печь опрокину! – кричу отцу.
- До этой поры не опрокинул?!

Вроде собрались, увязались, много чего из вещей изломали, изорвали. Спасибо товарищу Сталину, подсказал в трудную минуту.

- Давай ходчее!
- Избу запаливать? – кричу отцу.
- Избу?.. Не-е, оставим врагам клюпов и тараканов!

Мимо дома Саввы Лягушонкова проносимся, и отец, и я неладное замечаем: Савва веревку на березе приспособливает, видно решил покончить с колхозной жизнью. Баба у него визжит, без мужика дров не привезти, не то, что рыжиков принести.

- И этому паразиту орден дали! На сносях я, Саввушка-аа!
- У Саввы ребятишек пятнадцать душ, его Родина поощрила орденом «Отец-герой».
- Совсем с копылков скинуло? – кричу Савве. – Еще бы через тел-

вышку веревку перекинул! Толковые люди ремешок ко кровати привяжут и амба!

Вдруг жена моя вспомнила: баня же топлена! Бежим немытые!

— А то, — соглашается отец. — надо помыться. Куда с грехами. Успеем. Вон Савва еще не повесился.

Обратно с мешками, чугунами, дугами и тулупами. Вот ведь счастье так счастье: бабка старая навстречу ковыляет! В спешке упала за поленицу дров, мы, проворные да молодые, и не заметили впопыхах. Отец прослезился, сказал:

— К добру.

Сами в бане вымылись и бабку вымыли. Отец спрашивает ее, бежать-то может ли?

— Когда раскулачивали, одного пропойцу партийного с колом двадцать верст гонила.

Снова рывок. За деревней локомобиль в подовинную яму угодил. То механик наш колхозный Петрушка золотые руки приспособился на такой зверюге из первой советской пятилетки приусадебные участки пахать. Дешево и сердито: зверюга одну воду потребляет, он самогонку. Петрушка мужик партийный, живет по принципу: сам помирай, а колхоз выручай. Решил спасти колхозную пасеку, пчёл вывозил, да покусали его пчелы и он дал тягу в неизвестном направлении. У моего отца мигом план созрел: добро-то ничейное, стань просить — фигу с маслом правленцы дадут, вот кабы тяпнуть пару улейков под шумок... хоть бы пару! В случае чего и прокурору так скажем, мол, паки наши оказались на нейтральной территории. Нет, говорю отцу, колхознику веры нет. Поэтому соломы притащили, обложили локомобиль вместе с пчелами и сожгли. Ни нам так и ни вам! На душе сразу легче стало. Бабка лет на пятьдесят моложе стала. С вызовом сказала:

— Это вам шесть коров наших, соломорезка, четыре кобылы да медин Стужень!

Отец добавил:

— Комету нарочно на нас направили, крестьянство изничтожить хотят.

Жена по глупости своей усомнилась: кто они, кто направляет да изничтожает? Бабка и та засмеялась, один зуб у нее во рту торчал до этого, так тот зуб вывалился. Молодо- зелено, да кругом враги!

Нашу семью обходит семья Саввы Лягушонкова. Ага, надеется на второй орден. Налегке идут, оно и понятно. Такую ораву государство прокормит, у нас плодовитые да непьющие занесены в Красную книгу, многодетных матерей вспоминают на всех праздниках.

— Прибавить ходу!

Бежим. Ухваты тычут в лопатки, на шее коровий колокольчик. А корова?.. Вдруг да телиться придумала? Мимо нас косоглазая Палагея пробежала с подойником полным молока, бригадир, кузнец Бродягин с наковальней на плече, кто с чем. Бухтят в верхах, что колхоз есть черная дыра, мы колхозное имущество врагам не оставим. Мы не верхи, те Родину на Канараках в карты проиграют.

— Сладкая щтука жизнь, — отец задыхается, должно быть вспомнил про клюшку. — Только бы до Камешников добежать, а там рукой подать.

Некогда соображать, кому руку подать. Скорее всего у Камешников нас никто и не ждёт... Коза Демида пала; идёт Демид пешком, руки заложил за спину и как журавль вышагивает. Горе чего с человеком не делает, и телевизор не надо. Телевизор-то тещин!

Кто-то медведя вспугнул, сейчас некогда гадать кто: ломает меня мишка! Из-за сосны выпорхнул, каратист должно быть, раз мне по башке лапищей, я и мордой в грязь. Не тут-то было голубчик, колхоз есть семья трудоднем сшитая, мужики страх перебороли, стаей налетели, кто чем мишку потчует. Счетоводка Марьиванна в белых тапочках счетами его, счетами колотит!.. Великое дело колхоз. И тут же медведя засвежевали. И выход мяса прикинули, и по едокам разделили. Пробегались, сплочение чувствуется, гордость за общую семью. Которые вперед забежали, возвращаются, вкусный запах весь лес опутал. Все нашлось, и чугуны, и ложки. До чего дружно щи уплетаем, будто век не едали. Палагея косоглазая каждому по кружке молока налила.

Тут и секретарь наш партийный идёт, увидел народ, рад не рад. Упалился сердечный. У него пузо большое, руками его придерживает, чтоб не пролилось и хохочет. Оказывается, комета рядом прошла, а райком партии как узнал, что народ сбежал из деревни, и... первого секретаря родимчик хватил, второму аппендицит вырезали. Перепугались наши князьки. Было мнение в верхах, что мы в Финляндию подались всем табором, ибо корни-то наши от финнов да угров отпочковались.

Домой воротились, а корова отелилась. Бычок лобастый такой прыгает около матки. Отец гадает, какую кличку быку дать. Бабка прямо присоветовала:

— Кулаком.

Даже моя жена, баба ума среднего, поняла: не добежали.

Погужили, порядили, надо как-то жить начинать. Что кабы я печь не опрокинул!.. Вроде оба с отцом трезвые были... Пошел отец по деревне

народ на помочь кликать. Все пришли, даже Марьиванна в белых тапочках. Бригадир стол принёс, куда же самогон без стола поставишь? Механик Петрушка не пришёл, осерчал на нас. Сказал Савве Лягушонкову:

— Техника вне политики, техника не виновата.

Во как повернул, мы виноваты получается! Напугают, задурят, на войну со змеем призовут... Ну, мужики, начали! Печь новую собьем да опять колхозом заживём! До следующей кометы.

Красное ожерелье. (сказка)

Давно это было, на заре времён. Еще не народились Святогор да Илья Муромец, баба Яга в зыбке качалась, Кошеч Бессмертный без портков бегал, о злате не помышлял, где город православный Киев ныне по холмам расплескался, там голо было, стеной стояли леса дремучие зверем полные, реки несли к океану воды родниковые, в зимы трескучие птицы на лету валились замертво, облюбовало кус земли благодатной племя руссов. Только первые избы срубили, только от леса пашню отвоёывать начали, стали пропадать охотники. То один пропадёт, то и два да три сразу. Плач по селению идёт, ропщут слабые духом, мол, бежать надо отсюда. Однажды на закате солнца выползло к поселенцам из чащи чудище о большой голове, о семи языках, мохнатое да рогатое, хвостом на шишку еловую похожим, камни переворачивает. Народ опешил, кто за кого прячется, ребятишки малые враз смеяться разучились. Чудище на народ ползёт, языки длинные да гибкие как веревки по земле стелются. Выбежал вперед вождь, топором разил зверя, пригвоздил один язык к земле, а другие шесть языков опутали его, и под крики несчастного в пасть себе отправили. Наступили времена жуткие. Не стало спасения от чудища кровожадного. Собирались охотники, шли сражаться с чудищем честным боем, а оно уползёт в болото топкое и сидит там, не показывается.

Прозвали чудище Ненасытным Брюхом.

Остался у вождя сын, Егоркой звали. Не по годам смышлён, храбростью по отцу изладился. Весь народ как-то по-особенному к нему относился. А потому, что он поднял в лихой час с земли топор своего отца, поднял и чудищу пригрозил: «Ужо, погоди...» Раз сидят они с матерью в избушке, мать слезами обливается. Сегодня чудище её сестру съело. Остались трое детей сиротами. Мать ребятишек к себе взяла, покорми-

ла да спать на полатях положила. А дальше как жить?.. Вздыхает мать, говорит Егорке:

— Чему быть, того не миновать. Больно мне от сердца отрывать свою кровиночку, да время пришло. Однажды, когда я в девках была, сон мне приснился в пору звездопада. Видела я цветок красный среди голых камней, такого еще никто не находил из людей наших. Ниже лепестков ягодки малюсенькие, ягодка к ягодке, будто ожерелье. Руки тяну к цветку, он отодвигается. И пояс вытканный ложится, как цветочек обнимает бережно. И письмена такие: «Одел-одолел». К знахарке я ходила, спрашивала, да она одно твердит: «Что на другой стороне пояса написано?» Откуда мне знать, ведь я же сон видела. И думаю я...

— Всё понял, мама, — отвечает Егорка. — Надо найти и цветок, и пояс.

— Егорушка... — уцепилась мать за сына. — Ведь...

— Сама же говоришь: «Чему быть, того не миновать». Судьба.

Умывался Егорка водой ключевою, одевался чистые порты, Богу молился, брал котомочку с пирожком и шёл судьбу пытать.

Летний день. На погосте ничто ничему не мешает, связанное всё поглощающей пустотой, — всё прикрыто душным пологом неба. Масляный блеск сочных трав, воздух насыщен запахом намогильных цветов. Душа наполняется молитвенным состраданием к добрым, но не ведающим пока образа святости, людям.

Сел на камень валун на росстани, думу думает: «Влево дорога торная, в чисто полюшко ведёт, за полюшком в озеро утыкается, вправо тропка примятая, оттуда чудище выползает. Пойду по ней, ишь, тухлятиной несёт, а там что нибудь да придумаю». Пробирается через завалы из лесин осклизлых, проваливается по пояс в воду затхлую, и выводит его тропка к кособокой избёнке. Удивился: почему тут избенка стоит? Почему чудище живущего в ней не сожрало? Стучится — не открывают. Ну, думает, Ненасытное Брюхо и здесь побывало. Толкнул плечиком — дверь отворилась, заходит, в избушке чистота ангельская. Всякая вещь на своем месте стоит, пахнет мёдом, травами прелыми. На одном косяке оконном пучок цветочков засохших, лыком переплетенный висит. Заинтересовался, с косяка снял да понюхал, тут и упал без памяти на пол.

В той избенке старик борода до земли жил поживал. В отлучке был. Воротился — гостя на полу спящего видит. «Травки моей понюхал, время свое остановил», — догадался старичок. Достал он из сундука книгу старинную, вороном тыщу лет назад сочиненную, и всё про Егорку как на ладони. Пучок травки повернул да торцом под нос Егорке сунул, тот и вскочил. Как ударится головой в потолок, аж треск по всей избушке.

На старичка смотрит, голову щупает. Сюда заходил маленьkim, сейчас приходится согнувшись стоять... Прощения просит, что незваным заявился. Садит его старичок на лавку, лавка под Егоркой прогибается.

— Задумку твою знаю, — говорит старичок борода до земли. — Давно живу лес сторожу. Помогать тебе стану, ибо чудище, Бездной рожденное, одолеть только человек может. Длинная у тебя дорога. Первая встреча твоя с Великим Хвастуном. Дам я тебе корешок сосновый, коль жив останешься, помаши им в теплую сторону, но... когда пояс, что мать во сне видела, на себя оденешь.

Вывел старичок борода до земли Егорку из избушки, повернулся на одной ноге и сгинула избушка, будто ее и не было. Ожил лес, начал криками страшными наполняться, воплями да завываниями. Ветви Егорку по лицу хлещут, мошка над ним тучами. Сменился зеленый лес на сухостойный, жаром скрюченный да обугленный, птичка не цвийкнет, комар не спишит. Уж дышать нечем, на глаза синь дремотная наползает, а Егорка идет. Привалится к черному стволу, отдышится и опять идет. Впереди пропасть, дым смолистый из недр поднимается. Понял Егорка, что надо ему на другой край перебраться, на другом краю вроде лес жаром не тронутый стоит. Топор из-за пояса выдернул, стал рубить лесину, а лесина крепче кости. Долго рубил. Чует, нет больше сил. Котомочку развязал, пирожок матери достал, поел — сил-то втрое прибыло! Упала лесина — вот и мост. Только перебрался на другую сторону, еще дух не перевел, стая волков набежала. Хорош был отцовский топор да и тот затупился, — много порубил, больше убежало. Лежит на земле, облака глазами провожает, отца родимого вспоминает. Жаль, не видит его отец... Сильный стал его сын, ничего не боится! «Захочу — вырву деревце с корнями и облака пощекочу!» И заснул Егорка на травушке-муравушке. Очнулся — дышать тяжело стало, рукой-ногой пошевелить не может: змеи всего опутали. И взмолился Егорка облакам да ветрам: «Облака странники, ветры бегуны, донесите до отца родного слова мои: отец, прости меня хвастуна». И начали расползаться змеи во все стороны, шипят недовольные.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много еще дней шел Егорка. Запали в сердце слова старичка борода до земли про «теплую сторону», потому направление держал от «солнца». Хлебушка поест, а хлеба убыли нет. Благодарит он руки материнские и землю кормилицу, этот дивный хлеб взрастившую! Взошел на гору, сколько глаза видят одни камни окрест, и растёт между камнями дивной красоты цветок. И пояс плетеный вокруг стебелька опоясался. Обрадовался, поясок

скорее одел, корешком сосновым помахал в теплую сторону. Явился перед ним старичок борода до земли.

— Заматерел ты, Егорка, бородища какая, — говорит любовно старичок борода до земли. — Жаль, поторопился маленько, не прочитал письмена с другой стороны пояса. Нет — нет, нельзя в реку войти дважды, не снимай. Дам тебе два пузырька. Из синего попьешь — мышью полевой станешь, из зеленого — великаном, из обоих сразу — беспомощным падешь. Иди обратной дорогой и сражайся с Ненасытным Брюхом.

Пошел Егорка обратной дорогой. Опять хватил лиха немало. Отыскал Ненасытное Брюхо. Раздороднело чудище на людской крови, языки стали втрое дольше, шерсть на спине лоснится, похожий на еловую шишку хвост столетнюю сосну шутя ломает. Видит Егорка, не совладать ему с одним топором против чудища, попил из зеленого пузырька, великаном стал.

— Ну, — кричит, — расквитаемся!

Положил котомку на землю, подаренные пузырьки на виду — мало ли понадобятся, и на чудище. Рубит ему языки, рубит лапы, рубит голову, только что не отрубит, то обратно прирастает. Устал Егорка топором махать, и чудище устало, землю языками с травой слизывает да в пасть бросает. И Егоркину котомочку с пирожком да с пузырьками слизнуло. Слизнуло и растянулось обессилевшее. Тут Егорка и отрубил ему голову. Хлынула черная кровища, где пролилась, там земля лет на сто омертвела.

Хотелось ему тут же пояс снять и прочитать, что же на другой стороне написано, да не зря он сметливым родился: лучше я отыщу избушку старичка борода до земли да спрошу. Чужая сторона многому научит. Отыскал избушку, а как он такой огромный в нее ступит? Звал, звал, не откликается хозяин. Ручищу свою огромную просунул в дверь, нащупал пучок трав, лыком переплетенный, только понюхал, как заснул крепким сном.

Воротился старичок борода до земли, похвалил про себя Егорку: сберег избушку, не разворотил. Пучок трав торцем к Егоркиному носу поднес; тот и проснулся.

— А теперь, — говорит Егорке, — сними да прочти.

— «Одолел — одел». Это как понимать?...

— Мать твоя состарилась, а невеста расцвела. Нагни ко мне голову, — велит старичок борода до земли.

Зачем голову наклонять перед благородным мудрецом, перед ним надо стоять на коленях!

Поводил старишок борода до земли пучком трав лыком переплетенным вокруг головы Егорки, и в землю рост ушёл, стал он парнем статным, красивым да нарядным.

Донесли вещие вороны весть радостную до селения руссов, стар и млад встречал Егорку. Смехом ребячым звенит селение. Впереди всех стоят его состарившаяся мать, на девушки пригожую опирается. Бежит Егорка, мать обнимает, девушке на шею пояс свой вешает. И тут случилось диво – дивное, которое до сих пор не забыто: светом небесным загорелся пояс и обратился в ожерелье рубиновое. Дотошные старушки потом камушки пересчитали, и вышло, что число их столько, сколько жизней людских Ненасытное Брюхо забрало.

От автора. Пояс чудодейственный по сильным людям ходил. Носил его и князь московский Дмитрий Донской. Попал пояс в руки Марины Мнишек, авантюристки, жены Лжедмитрия, и сгинул бесследно.

Лев и Кролик.

Один Кролик выделялся из своих собратьев не только умом, но и отличительной окраской. Серый, с черными и белыми пятнами мундир, признак родовитости кроличьего племени, прекрасно сидел на мускулистом теле. Этот Кролик слыл еретиком и вольнодумцем; другие кролики сбивались в партии и в движения, принимали множество законов и тут же забывали про них, делили обширную степь, делили воду и воздух, имели множество логовищ на все случаи жизни, он же не признавал границ и владений, жил там, где вздумается. За свободу и обретенных подруг приходилось часто драться, его считали чужаком и захватчиком, за ним числился большой налог за пастбище, чиновники не могли взыскать алименты. Крольчики завалили жалобами канцелярию царя. В драке побеждает не столько сила, сколько смекалка. Был у Кролика заклятый враг – Шакал, Шакал спал и во сне видел, как он снимает с кролика шикарный мундир. Завистник был Шакал, от него дурно пахло, зубы не чистил, шерсть постоянно свалялась, и был он трус презренный.

Однажды ранним утром владыка зверей Лев обходит свои охотничьи угодья. Нрав имел буйвый. Станет по-свойски у львиц выпытывать, не изменяют ли ему, львицы ни гу – гу, – бьёт, колотит куда ни попало, – изменяете, подлые?! Сегодня у него болят зубы, – ночью грыз мосол

и сломал зуб. Идёт царь нехотя: обязанности заставляют. Сзади Льва свита из молодых пажей львов, свита держится на расстоянии, на грусть не нарывается. Шакал тут как тут. Лебезит перед грозным владыкой, наговаривает на гиен, соперников львов в дележе добычи и освоении пространств, нарочно манит туда, где нор кроличьих великое множество.

— Где твои заветные пастища? — спрашивает Шакала Лев.

— Пойдёшь — близко, а придёшь — скажешь: велика моя власть.

Владыка и подвернул лапу, в нору оступился. Саванна огласилась грозным рыком.

— Какой изверг смел вырыть яму на моем пути?

— Живет тут один ловелас и бездельник, Ваше Царское Величество... Еретик и анархист, бабник и хвастун, пролётная головушка. Три дня назад перед грозой нарочно вырыл эту яму... — угодливо изгибая спину говорит Шакал.

— Так поймать мне этого безбожника!!

Быстро бегал Кролик, растворяясь в пространстве комочком, да поймали его страусы, слуги льва. Измором взяли. Пред очи грозного царя пинками притолкали. Лев лежит в тени баобаба, стонет от боли.

Шакал сидит, облизывается. Обычно кролики не царская добыча, мяса в нем на один клык. Аппетит разыгрался у голодного Шакала, слюна течет, желчь горло давит, — перед Львом сегодня антилопу положи — не дотронется с больными зубами. И молодые львы наперёд батьки не полезут.

— Виновен я, — говорит загнанный Кролик. — Смерть приму из твоих лап как должную меру. Чтоб зря не тревожить тебя, царь царей, владыка несметных угодий, дозволь умереть той смертью, которую выберу.

— Выбирай скорее, — скривил от боли челюсти Лев.

— Дозволь умереть от старости.

— Толково сказал, подлец ты эдакий. Но я жажду крови!... Так болит лапа, так болят зубы... За что мне такие муки, зачем мне царские привилегии?!

— Моя бабка, царство ей небесное, слыла великой знахаркой. Она говорила, что больную лапу Льва, надо крепко обернуть сырой шкурой Шакала, перевязать его кишками и через три дня лапа заживет.

— Да ну? — не поверил Лев.

— Чтоб на меня столбняк пал!

Тут же с Шакала содрали шкуру.

С тех пор Кролик живёт с охранной грамотой Льва. Чиновники не

пристают с алиментами, от налогов освобожден до самой смерти. То тут, то сям мелькает в саванне роскошный мундир.

Чья банка сгущенки?

Отдыхают на курорте Медведь, Волк и Заяц. Сдружились. Анекдоты травят, в соседние номера в замочные скважины заглядывают. Какой профсоюз им путевки спровоцировал — тайна за семью печатями. Шли они как-то с дневного киносеанса и нашли банку сгущенки. По этикетке стали изучать, в какой стране сгущенку делают. Грамота у всех троих — незаконченное начальное образование. Вот кабы на язык попробовать...

— Ну, кунаки, — веско заявляет Медведь. — Ведь моя банка?

Так-то бы он и силой банку забрал, но живет в одной комнате с волком и зайцем, вроде интеллигентом стал. — По годам, по выслуге лет, по заслугам перед обществом — моя. Или кто из вас против?... Против нет. Прежде здесь пашня была, овсы хорошие росли, во — выше меня. Матушка меня водила ужинать. Бывало под вечер посадит на загорбок, солнце за лес уходит, комары проклятые поедом едят... Счастливые были времена. Это сейчас на тракторах пашут, а раньше на лошадках сохой земельку ковыряли, подзол не выворачивали. Мужички босые, замореные, лошадки — одни ребра, а овсы росли отменные. Я, ребята, патриарх медвежьего племени. У нас в роду старость уважаема. Кто на собраниях в президиуме сидит? Я сижу, потому как польза от меня лесу и зверью польза. Я — гарант свободной добычи, моё слово — закон! У меня грамотами, дипломами, благодарностями не только берлога, нужник оклеен.

— Ну, если по справедливости, по большому счёту, Михал Иваныч, в президиум-то тебя выдвигают для весу, для важности. Потом, по большому счету, ты спиши в президиум и пускаешь под шубу злых духов. Зайца что ли косоглазого в президиум выдвигать? Его же из — за пня не видно. Не солидно, — скалит зубы Волк. — Когда твоя матушка тебя в подоле на овсы носила, а я уж в этих местах баранов драл, жеребят шкурил. Помнишь, загоны здесь в ту сторону пахали мужички?.. тащу я как-то барана, жирный баран, хозяин у барана псаломщик был, ты в борзде сидишь, плачешь. Я барана кинул, чего, спрашиваю, Мишенька, обкакался? Осы накусали? А ты говоришь: «Дяденька Левон Петрович!

Мамка меня побила, я туесок в подполье с мёдом опрокинул. Меня дед перед сном напугал ведьмаком одноглазым, застрашал русалкой – моргуньей да бабой ягой костяной ногой, я не выспался, полез в подполье и опрокинул туесок». Так что, уважаемые кунаки, по годам – моя банка! Я ведь не торопясь могу и прочитать, кто банку сделал!

– Тогда прочитай, не хвастай! – горячится Медведь.

Складывал да складывал волк буквы, получились два слова: «Вологодская сгущенка».

– Ну-у, в Вологде я бывал, – авторитетно говорит Медведь. – Меня на пароходе маленького по реке Сухоне везли.

– Это куда же тебя везли? – с сарказмом спрашивает Волк.

– Куда, куда...на тамошних весах взвешивать. Стояли в лесу весы, меня мать посадила на них, весы подломились. Вот и повезли меня в город.

– Друзья мои, – верещит Заяц. – Давайте все по порядку, по полочкам разложим. В то лето, когда ты, Левон Петрович, жирного барана добыл и бежал с ним через овсяное поле, в котором ты, Михал Иваныч, горевал, моя зайчиха сознание потеряла. Помните, жара была, травы подгорели, реки пересохли...в то лето мне стукнуло семьдесят семь лет с гаком. Тогда я в урядниках состоял. Должность, друзья мои, паршивая. Пришлось раз деда твоего, Михал Иваныч, Луку Согнутеля, публично розгами сечь. Сорвал заготовку меда. Мне позор, шею начальство мылит...Каюсь, свирепствовал немножко. Твою матушку, Левон Петрович, пришлось по разнарядке отправить гать класть через болото. По большому счёту – прости, Левон Петрович, вредная была старушенция. И подворовывала...

– Ну, ты!... – показал острые зубы Волк.

– Молчу, молчу, Левон Петрович.

Много всяких небылиц наплел Заяц. И Медведь и Волк видят, что складно косой врет, да знай поддакивают, ведь врать- то они первыми начали. Оба Зайцу язык поганый вырвать готовы, да курортный устав запрещает наносить увечья. Досталась банка сгущенки Зайцу.

Распалась дружба. Медведь в кино один ходит, под каждый куст заглянет дорогой, мечтает банку сгущенки отыскать. С того дня стали звери жить разными комнатами. Утром по радио последние известия вместе не слушают, на злобу дня речей не ведут. В умывалке сойдутся, Медведь пыхтит, Волк зубами щелкает, а Заяц посвистывает. Посвистывать-то посвистывает, а оглядывается: Волк и Медведь случай выжидают, вот кончится срок проживания на курорте, тогда...

За день до окончания срока сбежал Заяц с курорта.

Сидит он раз на дальнем озере, рыбу ловит. Шуршит трава сзади. Ёкнуло сердчишко: выследили! Бежать поздно, плавать не умеет. Разорвут его на кусочки или Волк, или Медведь. Обидно им, ой, как обидно! Про хорошие манеры они забыли, как только вышли за курортную проходную. Не зря говорят, что в минуту сильного страха включается механизм самосохранения. Нарочно кинул леску на корягу, кинул и закричал:

— Помогите! Скорее! Скорее, кто там у меня за спиной?

Медведь оказался.

— Помогай, помогай, Михал Иваныч! Волк застращал заведующую курортом страхами божьими, та ему полную сетку сгущенки дала. Сюда, хитрец, спрятал, чтобы мы с тобой не нашли. Сгущенка — то вологодская! Только бы вытащить... Чур: поделим по — братски.

— Дай сюда уду! — командует Медведь.

Станет он сгущенкой вологодской с зайцем делиться!

Заяц шмыг в кусты и оттуда жалобно вещает:

— Ой, тихонько! Ой, не порви лёску! Подожди, подожди, я за шестиком сбегаю!

И теперь шестик ищет.

Лесные будни.

(Сказка)

С лыковым пестерём на спине, ни шатко, ни валко ковыляет по натоптанной лесной тропинке старый ёж, батожком подпирается, устал, заморился, навстречу ему заяц Рожь. Весной во ржи в грозу родился. Недомерок; пору не забрал, в ополчении не бывал, от лисы не удирал, горя пока не мыкал, по талонам соль не получал, одним словом из молодых да ранний.

— Куда идёшь, пенёк замшелый? — кричит заяц Рожь, от нетерпения дробь лапами выбивает.

— Откуда идёшь, куда идёшь... — ворчит старый ёж. Пестерь со спины снял, лапкой сбивает с носу капельки пота. — Вот пошла невоспитанная молодёжь. Сорока любопытная. Никакого уважения к ветеранам.

— Какое тебе уважение надо, шапка с иголками?

И прыг-скок, прыг-скок. Через ежа перепрыгнет, через себя перекатится, пролетающего жука носом сшиб, одним словом дурачится.

— Эх, молодо-зелено. Меня тятька учил с глубочайшим почтением поклониться всякой телеге, что по большаку стучит, а повстречал воеводу Михаила Ивановича со славной супругой Анастасией Петровной... господь Создатель, будто вчера это было.

Старый ёж крепко задумался, потёр лапками мордочку, зевнул.

— Да ты спиши что ли, шапка с иголками? — кричит над самым ухом заяц Рожь.

— Фу-у, еретик какой, до смерти напугал. Так вот я и говорю: раньше, чем медведь во времена пророка Елисея растерзал сорока двух ребятишек... или в те годы, когда царь Давид пас свои стада?.. да нет, позже. Одним словом бух под куст и лежи час, не шелохнись. Нынче... Был бы я попроворнее, отстегал тебя этим батогом. Дай дорогу, чего распрыгался?

— Такой день!... Такой день!

— День как день, — ворчит ёж. — Солнышко на зиму пошло, слабо греет, земля стынет... За теплым летом стужа ходит. Видишь, ива цветёт?

— Пускай цветет! — продолжает резвиться заяц Рожь.

— Я не против, пускай. До снегу месяц. А там... — зевнул ёж.

— А там что? Говори, да говори ты, шапка с иголками!

— Спать буду, вот что. Прикатит Дед Мороз на тройке белых лошадей, и такую стужу напустит-бр-рр, узоры ледяные по деревьям развесит.

— А ты где спиши?

— В норе. Свернусь калачиком и до весны. А весной...

Уселся заяц Рожь на тропинке, весь во внимании, уши торчком.

А ёж всё зевает и зевает. От какой-то сладости даже слюнку слглотнул.

— У меня норы нет. Пусти меня к себе, я с тобой спать буду, — говорит плаксиво заяц Рожь.

— У тебя ноги сильные есть, — отвечает старый ёж.

— И... и что?

— Пробегаешь зиму, а там... там опять лето. Опять солнышко, земляника вызреет... Люблю я землянику.

От таких слов заяц Рожь как подпрыгнет на месте, кубарем катится, стрелой летит по лесной тропинке! Воротился обратно, а ёж лежит на мху, к пеньку привалился.

— Сильные у меня ноги! — хвастается заяц Рожь.

— Сильные, — подтверждает старый ёж. — И жизнь хороша, и жить хорошо. Но зиму пережить — не поле перебежать. Холодно зимой, голодно. Мороз лютует, метелица кружит — брр-рр. Каждый кустик ночевать пустит, да не каждый кустик обогреет.

— Ты меня, ёжище трухлявое, не пугай всякими страшилками! Вот

пожалуюсь волку дяде Зимогору, он тебя живо отрезвит, поучит уму - разуму.

— Смотри ты, какой проворный, грозным дядей обзавёлся, - хихикает старый ёж. — После Александра Македонского Великого столько дядей развелось... Зимогоры всякие, хи – хии.

— А то! Нет у меня родителей, ни тятьки, ни мамки не знаю. Один только дядя волк Зимогор из всей родни у меня.

— С какого боку-припёку волк Зимогор дядей тебе приходится? — заинтересовался еж. — Случайно не сбежал от патриарха Иакова? Тот волк утром пел молитву, вечером делил добычу.

— Плети, Емеля, твоя неделя, старый дурак! Весь лес по то знает, один ты, молью еденный пенёк, не знаешь. Мы с ним вчера на этом месте повстречались. Он лапой мне по спинке погладил и жалостливо говорит: «Здравствуй, дорогой ты мой племянничек. Вот и свиделись. Я дядя твой, Зимогором звать. Я ведь бабкой повитухой был на твоём рождении. Сирота ты моя, сиротинушка. Ишь, какой худой. Да-а, тот день я хорошо помню. Полем шёл мальчишка пастух, он боялся меня и громко читал свою мудрую книжку: «И какая нам забота если у межи, целовался с кем-то кто-то вечером во ржи». А вечером была страшная гроза. Молния ударила в ель, под которой я прятался. Видишь, шерсть огнём выжгло? И я, дорогой ты мой, беспризорником вырос, познал лиха не мало. Пришлось и милостыню просить, а что поделаешь, голодное брюхо голову клонит к долу. Детки родителей зажиточных в хороших школах учились, а у меня жизнь жестянка. Нынче не прошу, нынче милостью других одаряю. Ты: себя береги. Себя смолоду беречь надо. Я вот не поберёгся, теперь косточки к сырой погоде и ноют, и суставы скрипят. Видишь, волос седой по всей морде попёр, старею - ю. Мы ведь с твоим дедушкой на одном солнышке лапти сушили. Пока бегай, нагуливай жирок. Чуть кто в лесу обижать тебя станет, ты прямым ходом к дяде Зимогору. Клянусь сорока одним каленым утренником – в обиду дядя Зимогор не даст!»

Смеётся ёж.

— Значит, волк дядей тебе приходится? Эх, молодо – зелено. Этот дядя не зря по сорок один каленый утренник приговаривал, он тобой позавтракает в который – то из них. Или пообедает.

— Мной?! Ты, ёж, говори да не заговаривайся. Я племянник, ближняя родня!

— Он тебе такой же дядя, как я для воеводы Михаила Ивановича псломщик. Вот прыгаешь, скачешь попусту, нет бы ремеслом каким за-

нялся. Ремесло не коромысло, плечи не оттянет. Ты должно быть училися в школе «Двои двери – один коридор»?

– Не хихикай, пустая головёшка! Школа, школа, ты про ремесло говори!

– Ремесла в школах изучают. Нас раньше разгами за леность пороли, зато мудрость древних веков до сих пор помню. Перво-наперво, повторяю, старших надо уважать. Зовут меня по матушке – Пригож, по тятке – Мастер Гож. Я – портной. По лесному народу хожу – кочую, кому кафтан сошью, кому одеяло перешью, на свадьбу обновку, на похороны… так пойдёшь ко мне в ученики?

– Пойду! Пойду ёж, по тятке – Пригож, по мамке – Мастер Гож! – обрадовался заяц Рожь и давай ещё резвее прыгать. – Я дорогому дяде Волку рукавички сошью!

– Угомонись. Всякое учение требует терпения. Усидчивости и внимания. Повторяю: по матушке – Пригож, по тятке – Мастер Гож. Для начала надрать бы тебе уши… ладно, выдерни у меня со спины иглу.

Очень захотел заяц Рожь портным стать. И как можно быстрее. Не поберёгся, сразу несколько иголок норовит выдернуть. Лапкой хвать за колючки, и заверещал от боли.

– Дурачёк, вот дурачёк, – укоризненно говорит ёж, по матушке – Пригож, по тятке – Мастер Гож. – Куда ты торопишься, торопыга? Дядя волк из тебя такие пуховые рукавички сошьёт…

На трёх лапках туда – сюда по тропинке, уколотой лапкой трясёт.

– Не буду я портным! – с обидой заявляет ежу. – Ремесло!.. Не надо мне твоего ремесла! – Бежит прочь и кричит: – Не буду! Не буду!

До реки добежал, смотрит, трудяга бобр плотину строит. Шуба у бобра от ила серая, сплавляет водой подгрызенную осиновую сваю. Заяц облокотился на кочку, и, видимо, глубоко обдумывал какую-то идею, вероятно, ту самую, как бы он стал дяде волку рукавички шить, став портным. Бобр сильно ударил хвостом – веслом по воде, заяц Рожь пробудился от думы своей глубокой, и давай задирать бобра:

– Эй, как там тебя… Бобёр-бобрище лопатой хвостище!

Бобр как не слышит, некогда бобру.

– Оглох? Я кого спрашиваю? – верещит заяц Рожь на весь божий свет.

– Ну-у? – недовольно спрашивает бобр.

– Зачем тебе запруда, у тебя ног сильных нет что ли?

– Ноги есть, и не слабее твоих. К ногам голову иметь не мешает.

– Ха-аха! Так у тебя и головы нет?

— Брысь отсюда! — кричит из воды бобр да как кинет в зайца Рожь свою осиновую!

Заяц бежать. Бежит, себя разогревает мщением: «Сейчас же к дяде Зимогору! Сейчас же! Вот заскочу на пашню, подкреплюсь овсом и к дяде Зимогору. Ишь, станет в меня каждый бревнами швырять!»

На пашню выскочил, глазам своим не верит: а где овёс? Нет овса, как шальной ветер овёс слизнул, одна стерня примятая топорщится. Ходит по пашне гнедой мерин, дышит шумно, остатки овса подбирает.

Заяц Рожь к самому мерину подскакал, так бы от обиды и лягнул лапкой в широкие лошадиные ноздри да немного страшно: вдруг лошадь затопчет его?

— Стой, кобыла! Кто позволил тебе самовольничать, мой овёс уплетать?

Гнедой мерин ухом не ведёт, овсинку за овсинкой сощипывает.

— Чем я зимой буду кормиться, глупая ты скотина? — наступает на мерина.

Мерин фыркнул, воздухом зайца Рожь на аршин в сторону откинуло.

Мерин голову высоко поднял, принохался к прелым далям, издал громкое призывное ржание, потоптался, тут зайца, комочком сжавшегося, заметил.

— Опоздал, косой? — спрашивает участливо. — И я под раздачу не попал.

— Меня зовут заяц Рожь. И я не косой к вашему сведению!

Заяц Рожь встал в боевую позицию.

— Смотри-ты, с характером, — со свойственной ему деловой важностью ухмыляется гнедой. — Мы тоже в битвах бывали. Меня Васькой зовут. Какие проблемы, зайчишка?

— Ты съел мой овёс, Васька, я на тебя дяде волку Зимогору пожалуюсь. Вот так! Задаст он тебе трепака!

— Давай, давай, кличь сюда своего костогрыза! Давненько волков не калечил; такую баню устрою — не поздоровится!.. А теперь — кыш, не мешай мне; завтра повезу зерно на мельницу, мне нужны сильные ноги и крепкая шея.

— А мне не нужны? — заплакал заяц Рожь.

— Перестань, не лезь мне в душу. Ешь, успевай, заправляйся на зиму, нечего сырость разводить.

До самой темноты паслись мерин и заяц на пашне. Заяц всё старался из-под самого носа у мерина Васьки овсинки сощипнуть, на что мерин Васька не реагировал: молодец, хватай, да быстрее в рот отправляй.

Стало темно; не заблагоухали травы летним нектаром, лишь покрылись обильной росою; загорелись звезды на совершенно безоблачном небе, обмётанные седой изморосью; мерин Васька домой потопал, заяц Рожь до ближних кустиков доскакал, под кустиком под ветерок лёг, один глаз закрыл, второй сторожем выставил, одно ухо прижал, второе навострил, и заснул. Снится ему, как волк дядя Зимогор его по спинке лапой гладит и нахваливает: «Прибавил жирку, сиротинушка ты мой, прибавил. Какой ты у меня молодец. Клянусь сорок одним каленым утренником...»

Старый ёж по матушке – Пригож, по тяньке – Мастер Гож, ещё долго ворочался в своей норке, то глупого зайца Рожь пожалеет, то в изголовье прелых листочков добавит, то яблочка пожүёт. Пали на ум слова пророка Софония: «...судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной косточки»... «Не дотянет до весны. Нет, не дотянет. Уж больно прыток, больно задирист. Доверчив. Волк у него в дядьках...», – подумал и заснул.

Мерин Васька лежал в своём стойле и прикидывал: сколько мешков положит на телегу хозяин и вытянет ли он воз в горушку? Хозяин стал стар, и он не молод, ноги к непогоде ныть стали...

Всю ночь строитель бобр подгрызal толстую осину. И как только низкое солнце затопило позолотой голую вершину дерева, тугой ветерок поздоровался с осиной и умчался прочь, качнулась осина, прощаясь с подружками, и упала прямиком в воду. От такого шума с недовольным кряканьем взлетели две сонные утки, собирающиеся в отлёт, в бобровой избе распахнулась дверь.

– Хозяин, пора завтракать! – позвала бобриха.

– Можно-о, – важно ответил трудяга бобр.

Мамаша

Глубокая осень сродни ворчливой старухе. Кряхтит, стонет, жизнь ругает, выйдет с батогом на улицу - озябла вся, высыпается в фартук да скорее на печь. Перекрестит рот и свернется калачиком. Надоела ей должность, ох, надоело с бабьего дня лямку тянуть, да замены нет. Дед Мороз еще тешет походный посох, его белые скакуны резвятся на ледяных просторах. Бьет резкий, холодный ветер, гонит с поля снег вперемежку с землей, крутится снежная карусель, слепит глаза. Снег сухой, как толченое стекло.

Чуть съехав на обочину дороги, стоит грузовая машина.

Прораб Отвесов, не сказать, что мужчина в расцвете сил, но уже и не мечтательный молодой человек, в кабине грузовика с шофером Толей Шумным сидят и выпивают. В такие минуты сладкого, бездельного томления, — должен же рабочий человек отдохнуть по-человечески когда нибудь! прораб оглядывает шоferа торжествующим взглядом, значительно кивая головой, подчеркивая таким видом особо важные, на его взгляд, моменты.

— Я всё о кодировании... Не пойму некоторых мужиков, — говорил Отвесов, — и чего их кинуло на какое-то кодирование? Понюхал, значит, травку или ватку и излечился? Ага, излечился. Как бы не так. Можно дома исправиться, без трескотни и валюты, надо такое снадобье подобрать для каждого особое, чтобы за версту при виде водки тряслось. Бред какой-то, или перед бабами хвастануть хотят? Мы с тобой пьяницы? Правильно: нет! Всяк уважающий себя мужик время от времени обязан выгонять из организма шлаки, прополаскивать кишки и уничтожать заразу на корню. Кругом нуклиды, озоновые дыры, буферные зоны пестициды... Покойник Менделеев научно доказал, что русичу необходимо пить сорокаградусную водку. Запомни, Толян: литр менделеевской водки весит 953 грамма! Потом я расскажу, как защищал ученую степень по водке наш великий Менделеев. Твое здоровье... закуси, зажуй рыбкой... прелесть. Ты любишь рыбалку? А чего нет? Рыбалка — это отдых, на рыбалке нервные клетки отрастают вновь. Художник Левитан именно на рыбалке черпал вдохновение своего таланта... Ты Созонта Изотовича с Выставки знаешь?.. Хоронили мы бабку Евфалию, и раз помянули, и в другой раз за столы забрались, а как стали песни петь да плясать, сноха Созонта Изотовича взревела: «Нашли кабак! Похороны, а вы!...» Да как схватит коромысло, как врежет им свекра по плечу и всё, закодировала одним ударом. С той поры придёт Созонт Изотович в лавку, смотрит тоскливо на винную витрину и плечо наглаживает, в носовой платок густо сморкается: сноха ему плечо коромыслом разнесла. Вот это кодировка! По-родственному! Или полезная для нас с тобой притча: у моего двоюродного брата сын раз десять кодировался. Не помогает и точка! А кто кодирует? — жена. Кто племяша в кутузку садит на сутки? — снова жена. Племяша в кутузку, а сама к хахалю. Это кодирование, Толя, ой как на мужицкую силу влияет. Баба у племяша рослая, кровь с молоком, ей такого мужика надо, ого-го! А племяш шуплый, нервный... Или вот: поехали мы с ребятами на Ромашевское озеро. На всякий случай прихватил три банки кильки, а в одну пустую я натолкал опарышей. Клев был хилый, паскудный,

скажу я тебе, пришлось варить уху из консервов. Естественно, какая рыбалка без спиртажки? Налимонились – будьте-нате. Помнишь, еще в газете писали, будто рыбинспекция попутала одних незадачливых рыбаков и отобрала сети? Во, они тогда рядом с нами дымы пускали, тогда еще одного районного руководителя пробрала «медвежья» болезнь. Очухались поутру, смотрим, а банка с опарышками пустая, в ней наши вилки сунуты, выходит, мы опарышей сожрали, под водку любая закусь идет. Ты чего?.. Стекло, стекло открай! Сунь рожу на ветер! Какой ты, однако, впечатлительный.

Мимо машины прошла бабка, на руке корзина, на спине рюкзак. На машину ноль эмоций.

– Истинно черт их волочит в такую пору, – ворчит Отвесов. – Старая галоша. Смотри, смотри, как батог далеко выкидывает, это значит, ход у бабки хороший. И голову несёт надменно, мол, знаю я этих шоферов – пьяниц. А разве мы пьяницы?

Толя Шумный отрицательно мотает головой.

Толя Шумный освободил кишки от вредных паров ацетона, сел, бледный, как вешний холст, положил голову на баранку.

– Да, Толя, дрянь нынче выпускают, самопал. Раньше от водки плясать хотелось, теперь реветь. Так вот я про Менделеева... Это у тебя предохранительный клапан срабатывает. Поживешь с моё – пойдет как по рельсам, выпьешь да крякнешь – нечистый дух в лапотках по жилам пробежал. По чуть-чуть для адаптации?.. По мили-мили на зубок? Закуси, закуси. Ты лучше закусывай. Вот однажды в День молодежи сидим с Женькой на берегу, удим – поудим, комары заели, погодка – самое то. Воздух такой тугой, тучки ходят, погода на миллион, а жору нет. Что параха, у нее и живот вместе с мозгами, и та под хорь ушла. Кинули жребий, кому в Городок за допингом слетать, выпало мне. Привез шесть краснушек. А Женька в это время во такого, во, хариуса хлобыстнул. Дёрнули по чаплыжке для поднятия тонуса и – добрый почин. Опять закинули, Женька как рванет через себя, и во, во – такой вымоток! Давай, говорю, не будем мы с этой ухой возиться, ненцы едят сырую рыбу? Едят, ну и мы не умрем. И почали: по рюмашке и хариусом закусываем. Картина, я тебе скажу... Кстати, ты страсть похож на писаря. Ну, помнишь в школе проходили «Письмо к турецкому султану» Ильи Репина?... Не помнишь? Я выписывала по почте «Историю Запорожских Казаков», так ты истинно друг Репина Эварницкий! Исторический образ в тебе, Толян! Так вот, смотрю, а под кустом мосол валяется аршинный, я его удилищем пригреб тихонько, Женька тянет руку за хариусом,

а я ему этот мосол лошадиный и подаю. На, говорю, друг, волки грызли – не сгрызли, с ним можно сто пудов камбалы съесть... тьфу, хоть дверку открай, всю кабину опоганил.

... Едут Отвесов с Толей, догоняют идущую старуху.

– Эге-ей, бабуля, садись! Подбросим! – кричит Отвесов.

– Спасибо, робята, спасибо. – Машет рукой старуха. – Мне не к спеху.

– Раз не к спеху – шагай на здоровье! Дыши ровнее!

С километр отъехали. Отвесов предложил пропустить по стопарику, чтобы в глазах не двоилось.

– Эх, и люблю же я рыбалку! Пацанами убежим бывало с Женькой ни свет ни заря, весь день ходим, всю реку облазим. Голодные, усталые. Начинали ловить аж от мельницы. А под мельницей, знаешь, сколько налимов водилось! Ужас! Думаешь, на чего мы их ловили? Век не угадаешь: на дохлого поросенка. У свинарника найдем дохляка и в реку его. Через день их столько присосется к падали, сами жирные. Падаль для налима – первое блюдо... Ты чего? Чё ты как баба беременная! Ну, Толян, чем тебя в армии и кормили.

Машину занесло в кювет – выехали на лопате, пока выкачали – распарились, как в бане, пропустили за то, что не пришлось ночевать в глухом поле.

– Хороша-а рыбка, пальцы откусишь! С запашком, да мы люди простецкие, не негры какие-нибудь с Ямайки. Там этой рыбы, сказывают, косяками на берег выносит, негры собирают и в бочки утаптывают... ладно, молчу.

Снова догнали женщину, сидит на мешке, отвернулась от ветра.

– Эге-гей, красна девица! – кричит Отвесов. – Садись в середину, отогреем.

Машет руками красна девица: не поеду.

Ветер всё лютел. Дед Мороз взнудывал своих скакунов.

– Баба с возу – кобыле легче.

Забуксовали до осей, не один кубометр снегу перелопатили, не раз покурили, а уж как выбрались из плена снежного, так отметили как следует. Узнала машина родную сторону, бежит да вылягивает. Троится в глазах у Толи Шумного, звенят бубенцы в башке у прораба Отвесова.

– Смотри, какая снегурочка выкаблучивает, – радостно кричит Отвесов, – подвезем?... Да чего их, баб этих, сегодня столько по дороге шастает? Сзади не определить... Ты не знаешь, чья это молодка?

Толя Шумный отрицательно мотает головой: спереди не всякую те-

перь опознает, а уж сзади – сзади да когда снег дорогу переметает, своя жена в наказание божье.

– Эге-ей, душа моя, изволь занять место в «Кадиллаке». Гордая, мы тоже гордые... Ну, хрен с тобой, Василиса краса, длинная коса!

За пекарней слили воду, принялись допивать остатки водки.

Толя Шумный счастливо зажмуривается, только отдерёт голову от руля, голова бессильно валится обратно на руль.

– Вернёмся к вопросу кодирования. Некоторые полагают, что все шоферы пьяницы. Неправильное суждение: выпивающие для пущей важности есть, чего скрывать, но пьяниц – увы, нет. Перекидать столько снегу, благословясь доехать, надо быть последним идиотом чтобы не выпить!... Чего только про шоферов не плетут. Мол, только остановилась машина в чужой деревне, и обязательно у колодца, со всей деревни бегут пацаны с криками: «Папа! Папа приехал!»... Твое здоровье, Довженко, Довженко, чтоб тебя собаки порвали или крокодил проглотил! Ты ему тоже не веришь? Правильно, плут. И Кашпировский плут! И доктор Хайдер, что год голодал в Америке перед Белым домом, плут. Четыре года назад разгружал я кирпич на станции Костылево. Сошли с одним рыжим доцентом, везет из Заполярья тресковую печень. Вот, Толян, вешь! На языке тает. Слыши, писарь, не спи. Я про печень говорю. Подходит один выпускник этого Довженко, вонизм от него страшный, и говорит...

– Доехали, робята?

– Что... что, кто сказал?..

Толя Шумный с трудом открыл свою дверку, долго всматривался в темноту и промямлил:

– Мам-маша?

– Я, дитятко, я. Сколько раз вы меня обгоняли, да у меня лошадь выносливая. Правлюсь, зетюшко, к тебе на именины. Держись-ко... ставь ногу. Годков бы тридцать скинуть, я бы тебя на горбу ещё в угор выдернула, а нынче ослабла.

Всю ночь выла выюга.

Прораб Отвесов спал во всей одежде на полу в избе Толи Шумного. Во сне скрипел зубами. Под голову ему сердобольная жена Толи сунула фуфайку. Толя Шумный спал на диване.

Гостиya до полуночи глядела телевизор.

Мамонт

Подающий надежды молодой корреспондент районной газеты Лёша Перышкин не жалел мотоцикла.

Перышкин это псевдоним, настоящая фамилия Лёши Попов. Ему хотелось писать сатири и фельетоны, писать остро, на злобу дня, чтобы все в районе знали, кто такой Перышкин. Еще он сочинял стихи. Подражал Н. А. Некрасову. Ведь и Некрасов когда-то задыхался жаром пушкинских элегий. Лирика великого поэта выражает побуждение совести в интеллигентстве, отрицание обветшальных форм жизни во имя новых идеалов при горьком сознании бессилия. Лёша Перышкин тоже любил свой народ, верил в силу народа, но порой, как и Некрасов, воскликнул с сокрушением. Второй секретарь райкома партии в частной беседе указал на факт мрачного пессимизма в стихах Перышкина, которого у советского поэта быть не должно. «Белинский пенял, что Некрасов навсегда останется полезным журналистом, но когда Некрасов прочёл стихотворение «На дороге», он обнял его, и со слезами воскликнул: «Да вы — истинный поэт!» Певца Некрасова, поэта переходного времени, можно считать русским Ювеналом, сатира у Некрасова лишь элемент поэзии, кандидату в члены КПСС зачем рефлексивный тон? Потом, вы пишите в районную газету, это вам не куплеты в «Свисток». Начинающий поэт находил исцеление и умиротворение в страстной любви к природе, в вере света над тьмой. Перышкин не чурался и бравурного страстного тона песен Кольцова. Одним словом Лёша Перышкин шёл правильным путём.

Сейчас он гнал... Нет, его нёс ретивый, нетерпеливый Негас!
Но по порядку!

Лёша Перышкин написал несколько очерков о пьянстве. В центр онставил тяжкие укоры проснувшейся совести, желание пьяницы загладить свою вину. Он видел зло не внутри человека, а вне его, в гнетущих обстоятельствах, борьбу с которыми выдерживает не всякий. Собирал материал везде, даже нарочно просился посадить его в КПЗ к задержанным. При всем самоуничтожении, внушаемом жалким видом пьющих людей, гамлетовских самобичеваний, писал Перышкин о последней точке падения, о жажде исцеления ипротрезвления; к нему стали привыкать районные пьяницы, они говорили много и страшно, только просили не называть фамилий, то детишек совестно. А главное, в чём видел свою задачу Леша Перышкин, было некрасовское соединение типичных черт русской действительности с античной величавостью доблестных

русских женщин. Вот в чём прелесть Некрасовской лирики!. Он стал знать районных знаменитостей. Один хвастливый алкоголик «раскрыл душу»: я, говорит, живу ниже травы, тише воды, двадцать один год пью из дня в день, но ни одного рубля не заработал. Ты спросишь, где я деньги беру? Во, как на духу: жениться надо на трезвую голову. Да, моя карга старше меня на двадцать лет, да и черт с ней и с её возрастом. Лешу Пёрышкина такой тип не устраивал: где оно людское благодушие, исполнение могучей удали, личное скорбное чувство, сознание своей значимости или духовного обнищания? Глупая кичливость. Одна женщина, которую Лёша помнит пьяной, неухоженной, злой и скверной столько, сколько знает себя, пригласила к себе в дом. Я, сказала, исповедуюсь тебе. Пусть тебя не пугают голые стены и тараканы, редкий день не поревлю... она сняла со стены фотокарточку в рамочке, бережно отерла рукавом и поцеловала. «Мой сынок Васенька... С него всё началось. Побежал на речку купаться и утонул. Завивается горе моё веревочкой...» Лёша ловит на себе выцветший, близорукий взгляд женщины и ему становится неловко. Возможно, Васечке было бы теперь столько годов сколько и ему... Удивительно мало сказала женщина, даже записывать нечего. Ее лицо приняло сосредоточенно – мечтательное выражение, она вся как потянулась к Лёше и без сил опустилась на стул. Лёше было стыдно, он протянул женщине руку, она пожала, подвигала скулами, сглотнула что-то... «Сказала бы людям: боль водкой не залить. Чем больше пьёшь, тем гадливее становишься. Ты, бают, как Некрасов Николай Алексеевич стихи пишешь, дак может мне уйти в лес да замерзнуть там?» Глядел на женщину Лёша Пёрышкин, и думал: нет, это не полоумная баба с выражением тупого терпения и бессмысленного вечного испуга, ей бы опереться о сильного человека... Вот и вся исповедь. Чего писать, на чём заострить бойкое перо? Очерки опубликовали. Пьющий народ узнавал сам себя, Лешу стали называть «нашим писателем», если попадал к выпивке – наливали первый стакан.

А сегодня, только успел зайти в кабинет, звонит телефон. Бригадир из колхоза «Новая жизнь» Гаврилов сообщал, что нашли мамонта. Лёша сказал: «Хорошо» и положил трубку. Посидел, подумал, хлопнул себя по лбу рукой: мамонта нашли! Но мамонты давно вымерли... Какой мамонт?! А вдруг живой?.. Сенсация! Мамонт!! Печатает областная газета «Красный север». Печатает журнал «Вокруг света». Печатает... Бог мой! Имя Лёши Пёрышкина мелькает на всех углах, им интересуются в Москве!..

У дома бригадира Гаврилова сидят трое мужиков. Лёша Пёрышкин приваливает мотоцикл к поленнице дров, ступая на одних носках

— только бы не вспугнуть окрылившуюся мечту! подходит к мужикам.

Здороваются со всеми за руку. Мужики вежливо приподнимаются, изучающее смотрят на незнакомца.

— Где? — тихо спрашивает Лёша, почему-то останавливая взгляд на страшном, черном, заросшем сивой щетиной старике в кирзовых сапогах — в этом мужике было что-то из ТОЙ эпохи, ТОЙ, когда жили мамонты!

— Что те, мушына? — глаза старика как провалились, он подтянул к себе лежащий рядом костыль.

— Мамонт, — краснея от напряжения, сказал Лёша Перышкин.

— А-аа, — облегченно выдохнул старики. Толкнул в бок мужика в рваной рубахе. — Мы, грешным делом, подумали про одного нашего фулигана, у одной нашей бабёнки, Пенелопой кличем, по пьяному делу в бане камешницу повалил.

— Привязан, — сказал мужик в рваной рубахе. Глаз прищурил, пальцем грозит. — Пошавел и точка. Ты фотографировать станешь? — заметил скользнувший из-за спины фотоаппарат. — Сначала нас чикни. Ну, крещёные, сделаем сурьёзные рожи... Кучнее, жмитесь ко мне.

— Что-то я не понял, — сказал Лёша Пёрышкин. — Кто... в бане? — облизал сухие губы: живой мамонт? и привязан в бане?

— Да бык привязан, — охотно повторяет мужик в рваной рубахе. — Три дня леший носил, фары у машины милицейской рогами выдавил, бока потыкал. Трудно, но взяли, собаку, на абордаж. Бригадир наш Арсенька Гаврилович депешку слал в газетку, чтоб побереглись, вражины. Одурел, поняешь, долго ли до беды? Валька Арташёнкова, Пенелопа эта греческая, у этой Пенелопы камешница в бане и упала, вилами потыкала в харю, он и пошёл мамайничать. Уважь, дорогой товарищ, засвидетельствуй. Для истории. В музее карточки есть, поп снят с семьёй, дак когда снят? До тридцатого, до окаянного года, до обнищенья нашего. А он смотрит приветливо, поп — то, почтительно ко всему народу, любящие, бородища лопатой... красота — а! Попадья нам по родственному будет, из себя державная... У меня жёнка такая... с каракельком.

— Пожалуйста, мушына, — просит заросший сивой щетиной старики. — У нас тоже в избе фотокарточки есть, мой дед на Германской войне снимался. При сабле, во всем параде.. Медаль во, выше титы, сам генерал Брусилов наградил. Бабка говорит, я стал однокапельно ОН, ужо сравню.

Везёт старенький мотоцикл Лёшу Перышкина, мотор постреливает, недовольно фыркает, смятое сидение передёргивает кожей. Осень,

любимая пора поэтов. Под колесами желтые, красные, оранжевые языки, колеса вдавливают их в землю. Горят перелески приплюснутыми островками. Лёша едет медленно, смотрит вокруг; красен лес, полна земля жизни и тайн. «Тут бы мамонтам раздолье... Лопухнулся. С кем не бывает...

Не бездарна та природа,
Не погиб ешё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных-то и знай –
... Мужики какие колоритные!»

Про медведя (сказка)

Жили по соседству медведь с дятлом. Спорить не спорили, терриорию загонами не делили, кумовьями не были, пограничные войны не вели, здоровались при встрече по крайней необходимости, от одиночества. Новостями перебрасывались. Дятел всё больше по деревьям, медведь по земле. Не особенно красив полет дятла, перелетает какими-то рывками, но весь отдаётся радости полёта. Оба дорожили независимостью. Болото не горы, не имеет ярко выраженной энергии, кажущегося мужества земли, болото зимой одно, летом другое, с множеством подцветок. Жизнь была бы тусклая без разнообразия, без всякого рода шуточек. Коронный номер медведя: высмотрит на дереве дятла - кузнеца, вывернет корягу увесистую, подкрадётся незамеченный, да как врежет корягой по стволу! Одно дело ветер дерево раскачивает и дятел на раскачку даёт поправку, другое дело, если дерево содрогнётся крупной дрожью, отзовётся пронзительным плачем. Вспугнутый дятел перелетит на другое дерево и с час в себя прийти не может. Не только когти онемели, всё нутро онемело. А медведь доволен, хохочет, по мху катается. Медведь ягодами наполнит брюхо, разляжется на мху, заснёт, и спит, во сне с любовным соперником дерётся на смерть, дятел шишек котомку наберёт да и вывалит на спящего. Медведь спросонья и задаст стрекача. Ещё дятел страху добавляет стрекотаньем своим:

– Бей! Стреляй, косолапого!!

Под сухой сосной на болоте лежит медведь. За голову лапами держится и стонет. На сосне пестрый дятел добывает личинок короеда, и

долбит, и долбит, только шелуха всякая сыплется вниз. По всему болоту трель за трелью: тук-тук-тук-тук...

Неделю погода переменчивая была, то дождь, то вёдро. Будто в стеклянную чашу неба, как в банку с водой, ласточки обмакивали хвостики, пикировали до земли, чиркнут сырьими хвостиками по краскам высоченного обрывистого берега реки и, взмывая ввысь, спешили прополоскать своё оперение; и исходили хвостики цветом, а цвет постепенно становился мутью, неопределённой грязью, и, наконец, непрозрачной тьмой; вот настало утро, стеклянную чашу с долго не менянной водой опрокинули солнечные лучи, муть выплеснулась, обрадованные ласточки стали гоняться друг за дружкой над пенистой порожистой рекой; в чашу заглянули певцы полей жаворонки, испили нектар нарождающегося дня, и запели хвалу жизни.

Личинки короеда в такой прелой среде раздобрали знатно; сцепает дятел упитанную добычу, с мимолетным торжеством глядит на неё, мысленно как ободряет пленницу: «Чего испугалась, глупышка?» потом спохватится, – чего это я расчувствовался? раз и сглотнул.

– Переста-ань, – просит медведь дятла, – и какой леший привязал тебя к этой сосне?

– Пить надо с умом! – резко отвечает дятел. Покачал головкой и причмокнул. Жалеет дятел медведя и укоряет его: вчера медведь внука женил. – Седой стал, а ума… с шишку!

– Не стучи, не стучи, окаянная твоя душа-а, – чуть не плачет медведь.

Голос у медведя жалостливый, слабый, он говорит, еле сдерживая дыхание, будто может задуть свой голос.

Дятел ради больного медведя мог бы оставить жирных личинок на «потом», да поблизости не было других старых сосен, сплошь молодёжь после последнего пожара. Мало того, зимой глухари ощипали «молодёжи» шапки, лоси оглодали стволы, теперь сосенки силятся окрепнуть, а как выпрявятся, снова глухари снимут пробу, лоси придут и урон нанесут, и так будет всегда. Редкая сосна вымахнёт под небеса, и то, если корни её зацепятся за крепкую почву.

Медведь мог бы перебраться на отдых в лес, но в лесу нынче люди устроили свалку, и тучи тяжелых, назойливых ворон от свету до свету раздирают лес своими криками. В криках ворон медведю слышится плач ребенка – вороны затащили его первенца на верхушки деревьев и не отпускают его, и один дедушка лесной знает, что с ним выделывают. Какая ждёт его участь?.. Пер-

венца своего они с женой нашли раздавленного тяжелой машиной. А вороны... людей родители могли бы простить, может, дитя сам выскочил на просеку и угодил под машину, ведь он был такой неслых, а вороны! нет воронам прощения. Вроде годы прошли, но годы не утолили тоски отца и не утешили рождением других детей. Годы были школой жизни; школа научила его недоверию и терпимости, бывал он осыпанный милостью и презираемый соседями бывал бит, бывал в печали и бывал уверенным в своей правоте. Вороны выклевали милые глаза его первенца, но не выклевали веру в будущее. Правда, что-то сломалось в нём со смертью первого ребенка и не срослось. И потому вчера, на женитьбе внука, он держал тост за «нашу радость и нашу боль» - т. е. за детей. Призывал сородичей не питаться падалью даже в самые голодные дни весны, ибо кабаны, лисы, ласки и прочие твари всеядные, перестали поститься и стали болеть трихинеллезом. Дед на свадьбе был героем дня. Ещё бы: неделю назад совершил он дерзкий налет на пасеку лесника, улей разорил, сам наелся до отвалу и с пуд меду в рамках принёс. Рамки сразу пошли на брагу – нельзя скопиться, внук женится! Старуха медведица рамки сразу в кадку с водой, вместо дрожжей, что люди используют, корешков всяких насовала. Выстоялась медовуха отменная, все приглашенные накушались. Будет чего через год, и через два, и через пять вспомнить, не всяк со свадьбы своим ходом уполз, иные где столовались, там и лежать остались. Намеренно грабил лесника: лесник – главный враг лесу! О его жадности слагают печальные песни птицы, о его наглости в морозы гудят электрические провода на столбах. Возомнил лесник себя помещиком, сам леший ему не брат.

- Пе-ре-до-хни-и, – взмолился медведь.
 - Отстань!
 - Что за народ... Что за народ...
 - Пей да ум не пропивай!
 - Сам-то давно свой ум о сосны выбил, – парирует медведь.
Сел на мох; голова трещит.
 - Люди после пьянки опохмеляются, – говорит с сосны дятел. – Опохмелись, легче будет.
 - То люди, – печально говорит медведь. – У них выпивки прорвались...
 - Ты про свалку намекаешь?
 - Ага. Иди, ищи, люди спиртного много выбрасывают!
 - Не пойду.
 - Майся, твоя голова!
- День разгорается. Душно стало на болоте. Завидует медведь дятлу:

на высоте воздух свежий, видно далеко. Вот, думает, и шальной ты, дятел. Я бы на твоём месте вытащил личинку, съел с удовольствием, подремал, снова личинку достал... Побрёл он спиртное искать.

Осторожно к свалке шёл, боялся воронам в поле их внимания попасть. Увидят да привяжутся — беда.

Слышит, человек орёт, да орёт отчаянно, будто из земли выползает и выползти не может. Ближе да ближе... высокий муравейник. Рядом с муравейником мужик бородатый лежит в зеленой куртке, руками как бы помогает муравьям себя трелевать, ноги в кирзовых сапогах будто отнялись. В одном сапоге бутылка водки почтая сунута. По зеленой куртке медведь догадался: лесник.

Лесник орёт:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!!!

Медведь подивился: много ли ума в муравьиной голове, а ведь соображает, что всякую гадость надо подальше от своего жилища оттаскивать, чтоб заражения болезнями не было.

Пожалел медведь трудящийся народец. Травы нарывал, муравьёв смёл: кыш домой! сам лесника одной правой сгрёб за воротник зелёной куртки потащил. На краю болота достал из сапога леснику бутылку со спиртным, сел леснику прямо на живот и тянет в горлышко.

— Нин... нинуня, — хрюпит лесник, — ты опять в этой шубке.

Что ни говори, а весу в медведе пудов десять было.

Допил медведь, пустую бутылку леснику в сапог затолкал, и потащил на болото, к сосне, дятлу показать.

Дятел как увидел человека — лесника, и кричать:

— Зачем?! Зачем?! Он все сосны спилит!

А медведь лёг на мох, лежит, довольный в даль болотную смотрит. Смешно ему, что дятел за свои сухие сосны боится; и солнцу смешно. У солнца щеки ходуном ходят от усилий не расхохотаться. Как и полагается на болоте в жаркий день, шевелятся от земного дыхания в гигантском печном жерле невысокие волны — горбуны, рыжеватые, оливково — бурые. Закроешь один глаз — окаменели волны, закроешь другой — перетекают по всему телу уходящие на убыль житейские тучи; хочется теснее вжаться к моху, широко раскинуть лапы и лежать, собой защищая своё болото.

— Что разлёгся, тащи его отсюда! — кричал сверху дятел.

— Пускай, — лениво говорит медведь.

Лесному зверю вредно сильно радоваться — привычный к бедам, от радости теряет голову. А медведь на старые дрожжи да тяпнул на халяву

свеженького!.. И запел. Какая прекрасная, богатая, обновленная житуха обступила его со всех сторон! В меру прозрачная, в меру священная, очень милосердная, и вовсе не из тьмы рожденная, скорее из стеклянной посудины. Но как опасны возрастающий восторг и уверенность, что медведи как и дятлы тоже летают: лесник вдруг сел – медвежья песня не похожа на полет ласточки, на свист ветра, на катящийся с обрыва шуршащий камешек, медведь поёт... как усталость валится с водяных колёс мельницы.

– Нин... Нин... нуля? Не бранись, тут такое дело...

И хлоп обратно на спину.

– Тащи!! – надрываетяется дятел.

– Пускай, – равнодушно говорит медведь.

Новый мир, старый мир... Когда-то человек приспосабливается к повадкам медведя, боготворил его, нынче медведь старается подражать человеку. Всё повторяется в этом мире; Земля с космической скоростью мчится к познанию самой себя, к азам своего рождения, но на большой скорости вдруг заденет каким – то краем по орбите тысячелетий и усомнится вдруг: не слишком ли быстро я несусь? Вот лежат рядом с человеком, лежат как цари царей и не мешают один другому; человек хранит, медведь смотрит в беспределное небо; хороша всеобъемлющая жизнь, овеянная светлой грустью! Оно и понятно: именно наслаждение познанием делает бесконечным жизнь, именно познание утоляет жажду и будит новую жизнь. Память то сжимается, то растягивается гармошкой, то ползёт по земле легким облачком. Хорошо бы сейчас вернуться в юность, с не утратившей остротой ожидания чуда нос к носу столкнуться с молодой и сильной медведицей... Да-а, спиртное и на медведей оказывает сначала расслабляющее действие, потом безумное: звери и люди из одного теста.

– Тащи! Тащи!! – вопит с дерева дятел.

– Вот прилип... Тащи, если тебе мешает, – беспечно говорит медведь.

– Безмозглый! Он погубит болото!!

– Да ну-у?

– Тащи на свалку! Там его родина!

Умиление озарило пьяную морду медведя, как будто во мраке его памяти вспыхнул утлый язычок болотного огонька и поманил за собой. Свалка людей уводила его к юности, к своему первенцу.

– А ведь ты прав, друг мой, – твердо сказал медведь, выпрямился, елико возможно. – А если я его тут ошкую?

- Тащи от греха подальше!
- Подальше? Да дальше тундры Ледовитый океан. И везде эти двуногие звери!

Снова сгрёб медведь лесника за ворот зеленой куртки и потащил по болоту в сторону свалки. Дятел следом полетел, так сказать, проконтролировать. Медведь в трезвом уме не предсказуем, а про пьяного и говорить нечего. Летит, торопит, полёт его осмысленный и точный. Не сторожится медведь, напролом идёт, по липкой торфяной жиже, кочки тяжестью своей в сырой мох заминает. Люди говорят: пьяному и море по колено.

Странно, на свалке сегодня не было ворон. Это удивило медведя и обрадовало.

– Что, думаешь, бросить тут? – затаскивая лесника в кучу тракторных покрышек, спрашивает медведь дятла.

– Брось!

– А если скальп с него снять? Люди столько вреда приносят лесу...

– Не суди и не судим будешь!

Без приберегу кинул медведь лесника в кучу покрышек, поплёлся обратно на своё болото.

Вечер. На болото как вода заплывает зеленовато-малиновый сумрак. А небо разящей чистоты превращает сосняк в площади и перекрестки, сияющие изумрудные дворцы.

Лежит медведь, думу думает: это куда сегодня подевались вороны? Не иначе как нашли много пищи и не могут осилить. Голова у медведя уже не болит, мыслит в нужном направлении: ягоды это хорошо, а если провешенной дорожкой медку раздобыть или забрести случайно на пашню с овсом... было бы просто здорово! Вдруг вороны падаль нашли? У людей дохнут иногда коровы и свиньи, кто-то из людей закапывает трупы, кто-то в лес тащит. Проклятые вороны! Бьют их охотники, бьют без счёту особенно в первые дни открытия осенней охоты – пристреливают ружья, да не убывает зловредное племя.

Дятел куда-то улетел, должно быть спит в каком-то дупле.

Пошёл медведь счастья искать на пасеке. Ягод того больше ешь, всё равно голоден, вот мёд – это да! От мёда подкожная прослойка жиру быстро увеличивается. А много жиру – это безбедная зима. Идёт мимо свалки, а лесник из кучи покрышек выползает. Выспался. Матерится, нехорошими словами мать вспоминает и жену. На лесного дедушку напраслину наговаривает. Медведь только для порядку разок хорошо свистнул – лесник преобразился, озирается, приседает, зубами стучит.

Сунул лапу в пасть да другой разок свистнул, лесник и побёг. «Ну вот, а то курорт себе нашёл литературный», — смеётся медведь.

Смело топает, — лесник день пролежал на свалке, ни в жизнь не станет ночью пчел сторожить, пошлёт жену по деревне опохмелку искать. Всё складывается наилучшим образом: люди пусть занимаются своими делами, а медведь займётся своими.

Не учёл медведь тот факт, что нынче у людей женщины в семье верх забирают. Жена лесника видит, что муж спивается, ни какие уговоры на него не действуют, а ребятишек поднимать надо, и взвалила добровольно весь воз на себя. Заявился муж домой, стал фантазировать, как с медведем стычка произошла и косолапого он из жалости не задавил, жена без слов бутылку водки «герою» на стол ставит, а сама патроны крупной солью заряжает. Почему не пулями? Била челом жена лесника охотоведу: не дай моим пчелкам погибнуть! Охотовед стрелять по бандиту запретил: «Пугай. Ночами кричи. Выйди в огород, брякай ухватом о печную заслонку. Тряпки мазью пахучей сдобри и под изгородь наложи, а если пальнёшь — год тюрьмы и штраф — всю твою пасеку продать не хватит!» Муж упрямо на своём стоит, доказывает, мол, сегодня медведь не придёт, он медведю бока крепко намял, жена не верит. Тош стал муженёк на слово, болтает много, делает мало. Чтобы её-то муж да с медведем боролся? «Не говори ни кому, в бане шайками закидают», — сказала назидательно пьяному и рукой на кровать показала: спать! «С крыльца ночью ступил и в штаны напорошил» — такова её нелестная характеристика своему муженьку.

Слился медведь с землёй, лежит за большой черемухой метрах в ста от пчельника, нос дерёт запах лакомств, терпежу нет, но прожитые годы научили его осторожности. Прошлый раз он заходил от старой бани, и сейчас намерен идти проверенной тропинкой. Пчельник обнесён крепкой и частой изгородью, медведь мог бы её подрыть, мог бы навалиться да вывернуть с кольями, но зачем лишний шум? Тишина этой ночью ангельская, лист не шелохнётся, собака не тявкнет, одни комары надоедливо ноют и ноют над ухом. Дождался полуночи, пошёл. Баню минует, вдруг ослепительный сноп огня вспыхивает перед его мордой, проходит доля секунды и два хлестких удара в задницу, потом грохот и дым.

Утро. Молодое солнце упирается стройными рядами копий в могуучую землю. Небо такое синее, что если под это небо вывесить на пропушку кальсоны, они посинеют без синьки. Медведь лежит снова под сосновой, дятел завтракает личинками короеда.

— Больно-оо, — стонет медведь.

- Допил. Нет ума так как зовут? – говорит сверху дятел.
 - Трус поганый... Сзади стегнул.
 - Не по две морошки на ложку!
 - Вчера бы ошкурить его, так послушался тебя.
 - Ещё пойдешь в разведку?
 - Не-ее... знаю. Пьёт, пьёт и головой не мается, вот до чего люди крепки.
 - Тренироваться надо, – язвит дятел.
 - Я ему... скальп-то сниму.
 - Дурррак! Собаки лают... Ой, спилит сосны лесник! Он с тебя шубу сдерёт до морозов! Уходи, уходи, через тебя погибнет моё болото!
 - Бабы по ягоды идут.
 - Кабы бабы... Бабы с ружьями не ходят.
- Забыл медведь про нанесённую обиду, рванул с болота. Бежит, полный негодования: «Во как! Хапнул моё болото!... Ну! Ну! Ну!..»
- Что может быть на свете наряднее, праздничнее своего болота?

Не рой яму другому (сказка)

В провинциальном городишке, в трехкомнатной коммунальной квартирке, жили Лось, Лиса и Ворон. Обещали власти каждому из них персональные палаты, обещали «как только так сразу», да всё не до них было. То одна реформа, то другая, то третья под корень обе предыдущие подрежет. Жизнь вели холостяцкую. Лиса по глупой молодости на любви погорела, дочку родила. Дочка на воспитании у бабки была. У зверья и птиц примерно такие понятия в квадратных метрах жилплощади как и у людей: все всем мешают. Мешают на кухне, мешают в туалете, мешают со стиркой. Один купил антиквариат, остальные не дышите, один пригласил гостей, остальные молчите. Лиса в секретарях у Заведующего Сырьевой Базой ходила, любила шоколадки, внимание и всякие подношения. Должность Заведующего Сырьевой Базой передавалась по наследству, и был при этой должности в то время Лев в 121-м колене, и звали его просто: Завсырбаз. Потому зверю Завсырбаз в отдельных апартаментах жить не позволял, чтоб не обуржуазились, жили по старинке: в тесноте да не обиде. Ещё Лев

придерживался старой дедовской колеи, мол, после смерти моей камень на могиле не шевельните – честен я перед миром, Потом мода у него была сотрудников своих испытательным сроком морить. Выдержит, не захнычет, не заворуется – принимаю в штат. На Завсырбаза молились все жители лесного квартала: Владыка – это везде порядок, везде стабильность, везде уверенность. Любил лев Завсырбаз спортивные состязания, любил курорты, молодых львиц называл «цветами природы», с именем Льва 121-го зверьё просыпалось, с именем его спать валилось. Что ни год, то приплывает из-за моря не одна ватажка льстецов, одеты во рваньё, глаза голодные, гнутся да прогибаются, выпрашивают милостыню. Завсырбаз и велит нищим попрошайкам из жалости лесу выдать без всякой меры. А чего лес жалеть, у нас, мол, его на тыщу лет топить – не сжечь. Вертятся домой хитрые соседи, в дорогие одежды наряжаются и балы устраивают, посмеиваются над простаками: опять облапошили. На каждом углу восхваляют прохиндея ум Завсырбаза, кричат, что памятники надо ставить таким заведующим. Льва 121-го от такого внимания распирает от гордости. Дошло дело до того, что своим подданным норму потребления дров ввёл, да налогом обложил непосильным. А за море беспощадно караваны с лесом идут.

Лось все по стройкам, из мужиков был. На нем кирпичи возили. Ворон тот в архиве работает, древо жизни всех львов до Льва 121-го вывел, видеть стал худо от старинных летописей.

Обособленно все трое жили. Утром волей неволей приходилось на кухне встречаться. Лиса шаньги печет, Лось в кадушке траву заваривает, рогами перемешивает, Ворон в кастрюльке вчерашибюю косточку доваривает. Дровишек мало, в комнате студено, варево у всех варится худо. Кто чего напек – наварил, то и слопал, никто никому в рот не смотрит. О политике никогда не говорили. Нельзя сор из избы выносить. Завсырбаз умный, за морем его знают, своим надо терпеть да помалкивать. Даже когда по зверью ядовитый слушок пополз, мол, Владыка наш от дедовских традиций отходить стал – молчали. Лосю всё едино, какая партия к власти придет, всё равно кирпичи таскать, Ворон слыл монархистом, стоял за твердый порядок в державе, а Лиса – сущий перевертыш. Сегодня шеф её Завсырбаз в партии «Все на одного» – она самая горячая поклонница, завтра шеф в партии «Один за всех», и она за всех. Лев заболел несварением желудка, и лиса заболела оним. По воскресеньям Лиса в плавательный бассейн ходила, тело в форме держала, плавала кролем. Это стремительный стиль. Была у нее голубая мечта замуж выскочить за богатого лисовина из Скандинавии.

Лось любил стоять у форточки; бывает зимой такая пора, когда небо дышит морозом, когда снег на крышах лиловый. Грезились ему далекие путешествия, неизвестные джунгли, он согласен был растерять шерсть или погибнуть от голода, только бы открыть... тайну! Тайну движения материков, тайну Северного сияния, тайну... много у природы тайн.

Скучно Лисе. Не устраивает её общество Лося и Ворона. Сколько раз подсовывала шефу бумажки на подпись – дать ей, Лисе, отдельную квартиру, увы, не проходил такой номер. Потом туалет за двести метров, в мороз не очень-то приятно бежать под свист ветра и улюлюканье метели. Мечтала она выжить Лося из комнаты, любовника завести, в его комнатке ванну с золотым краном устроить...

– Соседушка, – как-то говорит Лиса Лосю. – Ты вот как каторжный по этим стройкам, разве твой труд отблагодарили кто? Хоть бы свитер из исландской шерсти подарили, хоть бы путевку на берег моря предложили. Черствые души в вашей строительной конторе. Хочу предложить тебе местечко шестого помощника повара в санатории «Корень жизни». Управляющая контора в этом санатории вся из заморских толстосумов, своих на версту не пускают, не жизнь – малина. Печи топят так, что окна в лютые морозы настежь открыты, а мы вот тут... бр-р, согреться не можем. А жратвы там!.. Забегала к управляющему гамадрилу Вшивому Чмо, он по-нашему ни зуб ногой, еле стоптала для тебя местечко, правда пришлось пожертвовать двумя пудами американских окорочек... ну как?

– Дурак будешь! – кричит Ворон Лосю.

– Некооперированный кустарь! Что ты понимаешь в душевном порыве, архивное чучело? – набросилась на Ворона Лиса.

– У тебя один порыв: дуракам глазки строить!

– Из ума выжился, старый пень!

Поверил Лось Лисе. Утром забрал в стройконторе трудовую книжку и в санаторий «Корень жизни» подался. Взяли его седьмым помощником повара. Без побегу относил кирпичи год, хоть бы благодарность записали! Права Лиса: черствые души эти чиновники. Управляющий Вшивый Чмо за год здешний язык понимать начал, с грехом пополам объяснил Лосю:

– Да-а, от работы грузчиком не будет богат, будешь горбат. Волос на шкуре у тебя седеет, сплошные потёртости, занозы, незаживающие раны... Лиса просила за тебя место шестого помощника повара, а я!.. Я, управляющий делами!.. Я второй после Владыки и третий после Бога! Жалко мне тебя. За твою честность приглашаю на полную ставку, беру в штат страдальцем. Будешь сидеть да страдать, вот и вся работа.

Лосю бы поинтересовалось, что за должность такая «страдалец», какая ставка, льготы, так обрадовался, что в тепле да при полном пансионе жить будет, на колени перед Вшивым Чмо пал, слезой морду свою оросил.

Заморские хитрованы выдали Завсырбазу Большой Похвальный Лист от лица всего мирового замерзающего сообщества: кабы не твои щедроты, господин Лев 121-й, окочурились бы мы... и так далее, и просят в штат помощников Завсырбаза принять заморских подданных, чтоб не утруждать «Его Высочество пустяшными хлопотами».

Львы относятся к кошачьей породе; кошки очень любят, когда их гладят.

Согласился. Приплыл целый корабль помощников.

Что тут началось, господи-и! Опять реформы, кадровые перестановки, подтасовки документов, квартирные распри. Лиса духом воспрянула, со всеми заморскими донжуанами перегуляла. А квартиры... увы, не выгуляла.

Через месяц Лося вызывают к Завсырбазу.

— Мой склад грабить?! В кандалы его!

Сидит Лось в темнице. Холодный, голодный, понять не может, за что упредали. Вроде всей-то работы было на бумажках, что Вшивый Чмо подсовывал, роспись поставить рогом.

А Лиса сервис за сервисом домой несёт, «стенку», финскую кухню, комбайны всякие тащит, Ворона совсем в угол затолкала. Вечерами гульба: гамадрил Вшивый Чмо желанный гость. Специально для него барабан выкатывали, и дубасил Вшивый Чмо по нему поварёшками, плевался и матом крыл здешние порядки. Лиса уговаривает знатного гостя вести себя прилично, не шуметь, не гавкать, ведь услышать, донесут...

— А пущай слышат! Скоро мы будем везде! — не унимался гамадрил.

И говорит Лиса Ворону:

— Понимаю тебя, соседушка, беспокойно при моих гостях. Но потерпи, скоро на расселение пойдём. Ты уши ватой затыкай и спи спокойно. Соседушка, скоро нас с тобой свидетелями в суд вызовут. Лось-то злодеем оказался, маскировался под честного обывателя, а мы с тобой ему верили. Аморальный тип! Меня домогался-ты помнишь? Тебя бил — я помню. Анономки писал, мол, леса наши планомерно уничтожаются заморскими инвесторами. Как я себя казню, что не разглядела, не доложила куда следует, мер не приняла. Соседушка, у тебя высшее образование, уж ты напиши все как было, потом мне прочитай. Будем в одну дудку дудеть, то обоим крышка.

Не стал Ворон анонимок писать. Прилетел он к Завсырбазу, все как было подробно обсказал. Прежде чем чучело из меня сделать велишь, говорит, как на духу всё выложу. Оглянись, говорит, что от лесов твоих осталось? Что наследнику своему Льву 122-му оставишь? Вспылил Завсырбаз, зарычал на весь лес. От рёва его макушки молодых сосенок к земле пригнулись. «Да что мы за народ такой?! Кому бы кого в каком решете с водой утопить, кого бы в каком срубе сгноить?! Я день и ночь о благе всего зверья и птиц страдаю, а подданные!.. Твари неблагодарные! Набрал вот заморских помощников, и всё-то у помощников ладно, и всё-то у них весело, на вырубках лес растёт до аршина в неделю, а свои пустозвоны..!»

Лося выпустили из темницы. Лису взашей из коммуналки выбили, сервисы отобрали, «стенку» лосю оставили. Много чего хорошего у Лисы нашли, воровка еще та была, тащила, что не пищало.

Живет Лиса в тюрьме, рукавицы шьёт. Днём работает, ночами у окна с решеткой завывает.

Вшивый Чмо в соседней камере сапоги тачает. Срок ему Завсырбаз прописал пожизненный. Исхудал, кожа да кости. Как Лиса голос ночью подаст, он подывать начинает. Барабан бы ему подать — да стража волчья послабления не допускает.

Завсырбаз от таких потрясений приболел немного, выехал на лечение за море. Полгода валяется на берегу солёного озера, греется да брюхо гладит. Стал поправляться. Шлют ему отчеты с родины, что лес на вырубках стал расти до двух аршин в неделю.

НОТ (бухтина)

Всю ночь, томясь страшной бессонницей, ровно одичавший кот, бродил по деревне Иван Иваныч. То он порывался петь, то гладить вихры на голове и вспоминать недобрым словом практикантуку парикмахершу — был на днях в райцентре, и зачем его понесло подстригаться? молоденькая девчушка окорнала накосо — лысо. Ближе к утру Иван Иваныч попросил разрешения у хрупких, зевающих звездочек на свежем небе придавить щекой холодную землю и отдал мозг дрёме. Ноги бригадира, обутые в кирзовые сапоги, лежали на огромных весах, таких огромных, что на них можно взвесить не только воз хлеба, но и всю колхозную контору. Одинокой сороке не понравилось грубо вмеша-

тельство человека в красоту пейзажа, она уселась неподалеку на березу и принялась с отвращением клеймить род людской и всё загаженное людьми космическое пространство.

Ещё только прокричали сонные петухи, ещё в деревне дымом не пахнет, еще спит народ православный, побеждая усталость, Иван Иваныч на ногах. Он бригадир, ему по статусу не полагается манерность, ему полагается быть злым, скupым, горластым, вставать раньше всех и ложиться после всех. На коридоре нашел банку с огурцами, выпил рассол – погладил брюхо – вроде приятнее на животе стало, вышел на улицу. В голове кузнецы в мехи дуют, по наковальне стучат, да так прилежно, аж голову плющат. Вчера под вечер было партийное собрание, пока тылы подтягивались, успели с мужиками принять на грудь по «несколько капель». Потому на собрании он, беспартийный, митинговал и сотрясал кулаками, верхи и Кремль «гвоздил» будь здоров. Получалось здорово: выпуклые глаза Ивана Ивановича горели адским пламенем. Тишину утра прорезал тягучий гудок – во, катит поезд. Должно быть стоят в тамбуре люди с заспанными измятыми лицами, курят, и, различая в окне проносящуюся деревню, завидуют спящим домам. А на деревне кто-то стучит настоящим молотком, должно быть отбивает косу, звук как прячется в синеющий дали и ослабленный пространством возвращается в деревню. По жердинке начал спускаться с насеста петух, заскользил ногами, захлопал крыльями, загоготал, окаянный, отравил и без того отравленное утро.

Бригадир Иван Иваныч с шагометром в руке идёт вдоль наволока. Он уже разогнал народ, кого траву косить послал, кого сено метать, конюха выматерил, телятнице Мане сунул в лицо дулю – вот, зануда, всё ей подкормки мало взят! по рации отчитался, накричал на жену... последнее он сделал зря. Теперь ему было стыдно, чтобы как-то заглушить это чувство, начал ожесточаться в сторону партбюро: «Сейчас дам шороху!.. Пузан! Нашлась бабка – повитуха: партийная работа, профсоюзная работа, партком, профком, местная канализация... Дать бы всем вилы – агитируйте!» Секретарь парткома колхоза сделал по рации отеческое внушение Ивану Иванычу за вчерашнее, мол, пить в такую жару вредно, долго ли до беды. Пример привел: недавно в Эфиопии один партийный эфиоп помер, подавившись пьяный головой индюка. Вспоминая недобрый словом секретаря, бригадир всё же отметил про себя, что горизонт дрожит в теплых струях воздуха, – к вёдру.

Это было похоже на дыхание обогретой земли.

Смотрит бригадир, косит мужик. Партийный. Чем-то похож на

«Муму» Ивана Сергеевича Тургенева, рослый, костью ядрёный. Из рядового состава. Рубаха пропотела, воротник рубахи чернее голенища сапога, овод мучит, а мужик как заведённый: вж-жожик, вж-жожик. «Правильно, — похвалил про себя бригадир мужика. — Коммунизм я представляю с профессиональной конкретностью: вот так и должны вкалывать настоящие коммунисты!» А сам враз обессилен, плюхнулся под кустик в тень. Лежит и с откровенной завистью и даже восхищением поглядывает на партийного мужика. И здоров же, враг! Сколько трепологии про эту научную организацию труда, сколько басен, развели турусы на колёсах, а мужик знай наяривает. Вот если бы... точно! Ведь коса в одну сторону работает, в другую для замаха свободная идёт. Вот если бы!..

Под озарением сбежал домой, принёс вторую косу, уговорил партийного мужика (припугнул секретарём, пообещал грамоту) связать косе-виша вместе, чтобы косить...

— Тыщи лет в одну сторону косили — признаю, времена были отсталые! А нынче, нынче по научной организации труда надлежит на холостой не ехать — и в обратную! Ну, ты понял меня?! Понял? Чего уставился, чего уставился?! Чего тут непонятного? Моральный кодекс строителя коммунизма наизусть выучил, а тут ума не надо, знай коси, коси и коси! На всю ширину захвата! Под самый корень вали, понял?

Прикинул ширину прокоса — что те косилка немецкая прошла! А как день взять да на месяц помножить, да на семнадцать косцов бригады вывести?.. И побежал Иван Иваныч к председателю колхоза с радостным докладом.

Председатель решил удостовериться, в легковушку и на покос к партийному мужику. Точно, за двоих мужик валит. Без рубахи, рубаха на кустах висит, просыхает. Досада берёт председателя: подсидит его бригадир с этой научной организацией труда! «Снять! — закричит на общем собрании колхозников. — Головой slab!» У этого Ивана Иваныча не бог на вороту, понимает, не понимает про НОТ, а горло дерёт. Спасибо вчера на партийном собрании уполномоченный райкома партии знатно причесал бригадира, то готов был всё колхозное руководство на Магадан отправить. И едет председатель к своему заму инженеру: выручай. Инженер был родня самого Левши, институтов не кончал, но кумекал по железной и плотницкой части здорово. Стоило ему, самородку, умом охватить технологический процесс, как родилась идея сделать приспособление, разбивающее валок без траты на то времени. Сделал. Проверили на партийном мужике — любота-а! Мужик косит и туда, и сюда, мускульная сила спины разбивает валок, — вот бы нашего инже-

нера да в какой нибудь космический центр! Председатель колхоза доволен, докладывает первому секретарю райкома, мол, вводим научную организацию труда, процесс идёт успешно. «Вот так пряники, — думает первый секретарь райкома. — Знаю я этого сумасбродца бригадира Ивана Иваныча, ему палец в рот не ложи, всю пятерню отхватит, и двоюродного брата Левши знаю...» Задело первого секретаря райкома. Звонит он в управление сельского хозяйства, звонит в «Сельхозтехнику», звонит подхалимам и подмазилам. Не говорит, кричит, грозится, по столу бьёт кулаком, Магаданом страшает, объясняет технологическую цепочку и задание даёт: сконструировать приспособление для ручного сгребания сухого сена! И срок: час-полтора от силы, или... всех в колхоз загоню! Загоню и паспорта не дам!

Ещё солнце на полдень не выкатилось, пылят к партийному мужику на покос сначала «Волга» райкомовская, за ней грузовая машина с по-делками и приспособлениями. Тут и инженеры, и слесари, и главврач района, голованы и головотяпы. Одели на мужика и этого приспособление — японский робот! Мужик косит и туда, и сюда, через три метра приспособление валок разбивает, через триста метров другое приспособление сухое сено сгребает. Мужик перепотел, оно и понятно, под вниманием трудится. Одно дело свой бригадир Иван Иваныч над душой стоит, а тут столько начальников понаехали его изучать..., того гляди, кто нибудь докторскую диссертацию нацарапает, подставляя под струящийся с тела пот двенадцатилитровое ведро. Упирается в землю крепко, работает с огоньком.

Докладывает первый секретарь райкома в область, самому товарищу А-скому.

В товарище А-ском весу восемь пудов, в войну полком командовал. «Все ко мне на ковёр!» — как двинул по столу кулачищем: сучьи дети! Распоясались?! Зажирили?! «Так я вас загоню туда, где Макар телят не пас! Колхозники, тьма египетская, чуть не космические корабли варганият, НОТ продвигают, а где наши заводы, где наши умы?!» Зашевелились в кабинетах, забегали порученцы, задымились научные лысины. И звонит товарищ А-ский в район первому секретарю райкома партии: еду!!! Первый секретарь райкома партии звонит в колхоз: всем алес капут! А-ский едет и с ним полста научных работников, всем быть на месте!

А Иван Иваныч сделал своё дело, спит в холодке. Поднял его секретарь парткома, матом кроет: пить надо меньше, Кулибин — Черепанов! А выпил — закусывать надо, Обломов-Чацкий! По своему лбу постучал

— звенит, по лбу Иваныча — поёт, понесли, говорит, головы на плаху.

Сколько машин на наволок к партийному мужику прёт, господи! Дорога узкой оказалась, пашню с овсом прихватили, на десять шагометров овес прикатили, «На медведя спишем, — сразу сmekнул выгуду председатель колхоза. — Страховку получим». Мужик партийный как увидел такую кавалькаду, приспособления с себя посыпал, косы в куст кинул и бежать. Догнали, товарищ А-ский темнее тучи:

— Когда я командовал полком, мои солдаты насмерть стояли!

— Товарищи отцы — командиры, последнее, замыкающее звено технологической цепочки я знаю.

— Так говори же, дорогой кормилец, не томи!!

— Фонарь НА ОДНО место повесить, чтобы ночью процесс не прерывался.

— А выдержит? — грозно спрашивает товарищ А — ский.

— Да! Семерых ребят смастерил, не посрамлю родину!

— Так... — товарищ А-ский задумался. — Отставить фонарь. ТЕМ МЕСТОМ всем нам загранице помочь скоро придётся. Вот что, дорогой ты наш Стаханов и Кулибин, напиши в газету «Красный Север» статью, как ты, не щадя живота своего, добиваешься высоких результатов на заготовке сена. — Ткнул пальцем в секретаря райкома, — поможешь написать. И выпиши ему, — показывает на мужика-работягу, — путевку осенью на ВДНХ. А ты, прохиндей научный, — ищет глазами главного областного чиновника по научной организации труда, — обмозгуй и доложи!

Уехали областные начальники, партийный мужик смотрит, бригадир один остался, один и к кустам жмётся, вот тут — то и обозначился главный враг рядового колхозника, и стал живучий косец по-звериному приседая заходить на Ивана Иваныча, и стал рукава на рубахе закатывает, в кулаки плевать...

Стало лицо Иваныча серьёзным и встревоженным, стал он застенчиво улыбаться мужику, мол, бес попутал, мол, с похмелья дурь такая по мозгам ударила, стал тяжело дышать, словно подавился своими выпуклыми глазами, а когда мужик раздирающе зарычал, он бежал. Бежал и клял себя за широту собственного мышления.

Сзади чего-то гремело, бухало, раскатисто ухало.

Оборотни (бухтина)

Лают собаки на деревне вперемежку, в несколько голосов, будто гонят, будто стонут, будто давят добычу. Цыгане наехали. Сгрудились возами, долго и с грустью смотрят цыганки на окна домов. За окнами тепло, за окнами вкусная еда, за окнами долгожданный покой. Не пускают цыган бабы. Нехорошая слава тянется за кочующим народом, да и к чему лишняя грязь, вши да хлопоты?

Разговаривают тощая посиневшая от холода цыганка и краснощекая баба. Баба советует цыганке пить рыбий жир, обязательно рыбий жир; у цыганки благодарно бьется сердце, вот кабы баба пустила переночевать ее семью, благодарна была бы вдвое.

На возах скулят ребятишки, баба сипло дышит, хрипло кричит на них, чтоб все передохли. Отдышавшись, цыганка покашляла немного, закурила, при свете спички посмотрела в лицо бабе. Ее лицо почти касается лица бабы. Баба с неподдельным интересом впивается в лицо цыганки. У той волосы выбились из-под шали, на ресницах изморозь, какие большие и наглые глазищи!

Идет мимо старик Семеныч, отец бабы, говорит цыганке:

– Пущу на постой, но если чегонибудь слямзите, век свой вас никто не пустит. И сено не воруйте, спросите у бригадира. Еще условие: самовар больше трех раз не ставить, и сказки всю ночь говорить, так как давно я спутал день с ночью.

Гортанно кричит цыганка на своем языке остальным цыганам, радостно на возах цыганята зачирикали, мужики лошадей разворачивают и к Семенычу в проулок. Для цыгана любая изба дом родной, часу не проходит – обжились, за самоваром распотели, чаю надулись, дымы к потолку пускают довольные. Терпкий цыганский дух растворился в крестьянской избе, присмотрелся Семеныч к постояльцам – чисты, опрятны, веселы. Сахар у них свой, чай тоже, даже колбаса есть и консервы.

– И какого вам лешего не живётся на одном месте?

Смеются цыгане, говорят, им Бог велел по свету бродить, коней красть, табором жить.

Улеглись цыганки с ребятишками спать на своих перинах, соломой набитых, старый цыган хозяина тешит, сказки да бывальщинки сказывает. С малых лет по свету скитается, много чего повидал. Одна история к другой лепится. Про попов, про чертей, про партийных секретарей,

про смерть неизбежную да кобылу резвую. До глубокой ночи говорил. Месяц светом серебряным избу залил.

- Стариk, а кто с тобой рядом лежит? – спрашивает цыган.
- Ты, кто еще. Вон серыга в ухе сблескивает.
- Собака я. Потрогай, какая шерсть на мне игристая...

Семеныч потрогал – точно, кобель чернущий рядом лежит, пасть оскалена. Хочет Семеныч закричать, да речь отнялась.

– Не трону, не бойся, – говорит собака. – Ты себя-то потрогай, ты ведь тоже собака.

Ощупал себя Семеныч – мать честная! Весь в шерсти. Сел на кровати, к окну на себя посмотрел – как есть в Полканы обратился, и чулки на ногах белые.

– Ночь-то какая дивная, – говорит собака – цыган. – Побежали. По снегу побегаем, за деревней полаем – волков попугаем, кость найдем – погрызем.

Выскочили собаки из избы, по деревне пробежали, у гумна возле стены сели. Смотрят, стая волков из поля выходит.

– В клещи берём! – говорит собака- цыган. – Ты того с боку забегай, я с этого, дадим серым жару.

Обе с разгону в волков врезались, только шерсть летит. Волков прогнали, но и самим досталось, накусали волки.

– Бежим к моему свату в Шевденицы, – говорит собака – стариk. – Свадьба третьего дня была, рыбник, глядишь, кинут.

Прибежали в деревню Шевденицы, под окном уселись, лают и лают, рыбник просят. Не вытерпел сват, с ухватом на улицу босиком в одних трусах выскочил, крепко угостил обоих собак. Напрасно собака – стариk вопила, что сватов ухватами не бьют. Сидят под конюшней, языки вывалили. Гля, бригадир колхозный Кирьян Иваныч тяжелущий мешок на спине несет.

– Где бы что не пропало, одни цыгане виноваты, а воры рядом живут, – обиженно говорит собака – цыган. – Посмотрим, что хапнул?

- Посмотрим, – согласилась собака – стариk. – Интересно, однако.

- Я на шею ему прыгну, а ты в ноги кинься, – говорит собака – цыган.

Кинулась собака – стариk бригадиру в ноги и... свалился Семеныч с кровати на пол. Лицом в собаку свою Полканы ткнулся. Полканы Семеныч берег, зимами ночью на улицу не выпускал. Полкан как завизжит... цыгане проснулись, тощая цыганка быстрее лампу зажгла. Семеныч вцепился пальцами в шерсть Полканы, кричит:

- Колхоз грабить? Не дам!!

Опамятовался Семеныч, рассказывает, что с ним стряслось. Смеются цыгане.

— Надо же, как меня сон сморил... А ты, страшило, — велит старому цыгану, — на полати полезай. Навёл на меня порчу своими баснями. Бригадир-то Кирьян Иванович мне зятем приходится.

Окаянный круг

Сравнение несуразное, но наши деревни, ей-богу, похожи на коров. Порода одна — сермяжная, а по масти — хромосомная разновидность пятилеток. Разбрелись они, эти деревни, по белу свету, рвите теперь бороды, краеведы, отыскивая прародительницу Великого Двора, Большого Двора, Белого, Старого, Горелого и так далее, вон их сколько, дворов этих, да ведь в каждый какую-то живность заставать надобно. Великий Двор-красавец! — стельная корова: голова к кресту, хвост к болоту. Через угор от него Белый Двор — нетель белоногая, хотя белого во всей деревне один фундамент под старой школой. Сиротой стоит Малый Двор — подайте сена клочок! — три дома без крыш да гнилая баня. Красный Двор — злостный уклонист! — в ногах по дому, по бокам поленница с дровами, в голове кузня с привидениями. Краеведы по волосине собирают шерсть со шкуры той коровы, от которой пошел здешний род. Кто возьмется показать именно тот пень, под который деды выссыпали три пестеря муравьев из трех разных муравейников?

Каждая деревня гордится своими знаменитыми земляками. Старый двор подарил стране генерала, из Малого вышла многодетная мать, из Великого — секретарь обкома, а из Белого второго сентября вышел фермер «нового пошива» Иван Иванович Ошуркин. У крайнего дома он остановился, свысока заглянул на спешившего куда-то бригадира, закурил сигарету марки “500 дней”.

Погода была, что девка на выданье: и прибрана, и румяна, и нарядна. Мир жаждал, чтобы в нем царила любовь и спокойствие.

Иван Иваныч скинул сапоги — когда-то его дед босиком ходил по ярмаркам, бережно неся под мышкой обутки, выломал сосновую палку, повесил на них всепогодные резиновики и пошел искать управу на обидчиков. Ступни ощущали необычные биологические токи, казалось, он не шел, его несли крылья. Несли вдоль перепутавшей строевой шаг линии электропередач, направимк через клюквенное болотце. Под деревней Малый Двор (колхоз им. тов. Браунинга), у изгороди из от-

борного теса, Иван Иваныч сделал привал. Он кинул сапоги на тесину, блаженно вытянул ноги. На ум пришла байка про некого солдата из своей деревни, пешком ходившего в Иерусалим. Будто бы богомолец так приглянулся настоятельнице женского монастыря, что та ни в какую не хотела отпускать добросовестного работника. Бывший солдат пустился в бега, оставив на кустах порты и рубаху.

От коровьего загона, как на ладони, видна внутренность деревни. Тишина кладбищенская: ни крику петушиного, ни смеху ребячего. Последняя старуха покинула родовое гнездо в тот год, как государство пошло в пьяную атаку. Нечем стало жить: весь доход на пропитание бабка имела от бражки, а война – дело серьезное. Потужил Иван Иваныч над участью Малого Двора, невольно подумал, что и Белый Двор ждет незавидная судьба.

Сзади послышались некие странные звуки, похожие на лопающие капустные кочни. задремавший Иван Иваныч повернул начинающую седеть голову и не поверил глазам: тощая пестрая корова доедала его сапог, приступив копытом голенище. То, что с голодухи и сапог пойдет на десерт, – не диковина, а то, что животина была так сообразительна... К уплетающей сапог корове спешили такие же тощие и грязные подружки, с боков заправскими ковбоями с матерными благовестами заходили доярки... Иван Иваныч перепрыгнул через изгородь, отнял второй пожеванный сапог, повертел в руках и в сердцах кинул на ленч бегущим коровам.

Потом он сидел еще минут десять, успокаиваясь и собираясь с мыслями. Своим сельсоветом он двигался по незнакомым лестницам и кабинетам, репетировал речь. Бывать у кормила власти до этого не имел возможности, потому он так и эдак представлял себе расположение кабинетов и их владельцев. Мэра района, гражданина-товарища Бурундукова, он представлял сидящим в мягким кресле, важного, солидного, костюм рыжего цвета обязательно в полоску, на столе множество телефонов, просители на негнущихся ногах заходят к нему, как к льву в клетке. Лев одним ласковым взором снимает сотрясение в коленях, дает нахлобучку кому следует, и проситель, счастливый и осененный, со светлым лицом покидает институт власти. «Ничего, – мстительно пригрозил Иван Иванович председателю колхоза им. тов. Моисея Сидору Горлопанову, – ничего! Посмотрим, как тебе шею намылят!» А то: «Через мой труп!»

День назад у фермера Ошуркина был деловой разговор с Сидором Горлопановым. Ошуркин стал требовать комбайн убрать полосу жита

размером с гектар. Сидор так и заявил, веско и решительно, когда Иван Иваныч заикнулся про свое жито. Правда, подумал немного, поломал сросшиеся в переносице брови, пояснил: «Ты теперь капиталист, господин Ошуркин, ты пришёл на поклон к товарищам – так не должно быть, в капитализме или баражтайся, или утони с честью». Тонуть Ивану Иванычу не хотелось, он еще думал поставить гумно с ригой, завести жнейку, лошадь и двадцать коров. Пока же весь начальный капитал ходил под мездрай десяти овечек и высасывал остатки удобрения из бывшей колхозной земли. «Позволь, не серпом же мне...». «Не позволю! – гремел Сидор. – А серпом тебе надо одно место отсадить, чтобы не лез со своим уставом в чужую берлогу!» – «Да ты... ты – чёрная сотня!» – обругал Иван Иваныч современным словцом. – «А ты – мешок с опилками!»

Вот и шел Иван Иваныч накатать жалобу на деспота, прозондировать почву закупок мясо – молочной продукции. Он был не согласен с тем, что килограмм картошки приравняли к килограмму баранины. «Это ж дикая дикость, диче не придумать!» – сердился Иван Иваныч. В кармане пиджак лежали вырезки из газет, где черным по белому печаталось про льготы единоличникам, возможность получения кредитов, техники, Указы про налоги и все остальное, от чего танцует колхозник, пожелавший отшатнуться от общего стада.

На Сидора Иван Иваныч не обиделся, Сидор был порядочный сумасброд, но время и Сидора поставить его на место! Прищучить председателя он надумал с помощью главы администрации Большедворского сельсовета. С Феодосием Букиным отношения были прохладные. Прошлым годом, когда отправляли бухгалтершу Веру Андреевну на пенсию, Феодосий так надрался, что вылил на голову Ивану Ивановичу кастрюлю с гороховым супом. Конфуз замяли, но в сердце Ивана Иваныча засела обидная заноза. Феодосий встретил его на крыльце сельсовета игрой на баяне. Выводил такую жалостливую мелодию, что Иван Иваныч не сразу и решился говорить. «Ты, Ваня, повыше бери, какая у меня власть? Отпою да повенчаю. Да и с Сидором мне не с руки спорить. Нынче ты капиталист, а я что – нищета».

Солнце сползло с зенита, жара спала. Миновав взгорье, Иван Иваныч опустился в низину, здесь малое зажая дорога поросла травой. Настил из бревен красноречиво говорил, как здесь тяжело технике и народу. С каждым поворотом все гуще и выше становился кустарник. Продравшись через жгучую крапиву, Иван Иваныч осталбенел. В районной газете много писали, что единоличник Гачников набрал миллионные кредиты

и разрабатывает пашню, а Иван Иванович видит море дурной травы... «Вот ещё плуты-то!! Вот где рублики отмывают!»

Долго ли коротко, Иван Иваныч добрался до райцентра. И тут он с ужасом обнаружил, что он, вроде как капиталист, идет босой. С понурой головой брел по центральной улице, читал иностранные вывески. Зашел для интересу в некое ласточкино гнездо, прилепившееся в углу дома правосудия с надписью нерусскими буквами. Оказалось это гнездо магазинчиком с галантерейной дрянью. Иван Иваныч осторожно потрогал пальцем толщину материи красной рубахи, от ценника в глазах помутилось: 3500. Мозг начинающего капиталиста тут же прикинул, сколько надо баранов на одну рубаху...

— Простите, — спросил продавщицу, оттаскивающую пилочкой ногти, — а как переводится название вашей лавки?

— «Мадам Русалкина», — с улыбкой любви на устах, точно подавая покупателю эту самую красную рубаху без денег, отвечала продавщица.

Будь эта русалка о сорока ногах, и она не проползёт босая по нашим улицам, — пришлось купить галоши за 350. Дальше он шел мимо аптеки с непонятной вывеской, как потом узнал — «Гигант в постели» — по-нашему. А вот и парикмахерская, на которой в прежние годы красовалась пригвожденная намертво «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», а теперь сидел негр, кудрявый, как новорожденный барашек, аппетитно уминающий банан. От подобного зрелища что-то оборвалось внутри Ивана Иваныча.

Вот в райцентре уже хозяйствует капитализм, а когда он дойдет до колхоза им. тов. Браунинга?

Против нынешней мэрии вечным укором тиранам стояла чугунная скамья времен Александра I. Не заметив ничего подозрительного в окнах здания, Иван Иваныч сел на скамью, повторил основные пункты обвинения в адрес Сидора.

Какая женщина не чувствует своего могущества? Даже на сердечный вопль, потрясающий воображение самого вопящего, волевая женщина не заскрипит зубами: она есть власть предержащая. С такой, сухой и отчаянной, повстречался Иван Иваныч у районного князька. В глазах ее даже на расстоянии чувствовался холод, точно Иван Иваныч зашел не в приемную, а в винный погреб.

— Приема нет. Записываю на приём за неделю.

— А я вот... мне бы...

— Приема нет

— Да мне это... Откуль ты взялась, эдакая дура?

Будто укушенная скорпионом, секретарша подскочила за столом, красная и злая, молча показала пальцем на дверь за спиной Ивана Иваныча.

Из своих апартаментов вышел мэр, мужчина низкого роста с большой головой, спросил:

— Опять воинствуете, амазонка?

Будто кровный арабский конь, сдерживаемый легким движением удил, секретарша ответила:

— Нахально ворвался, Илья Трофимович.

Не по росту крупная голова мэра была хорошо и гордо посажена на узких плечах. Густые, волнистые волосы, черты лица правильные. В посадке головы, в выражении лица чувствовалась внутренняя сила, почему-то не могущая развернуться. Кабинет мэра походил на обитель чернокнижника. Стены сплошь в газетах, на столе Российский флаг, вместо горшков с цветами — мензурки и колбы с какими-то снадобьями.

Перепрыгивая с ячменя на труп Сидора, с единоличника Гачникова на его кредиты, Иван Иваныч поведал нужду. Мэр довольно долго ходил вдоль стен, доходчиво объяснял важность экономического курса.

— Не сразу и Москва, батенька, строилась, что бы вы хотели.

Иван Иванович нелестно отозвался о власти на местах, похулил спекулянтов, выразил надежду на большую голову мэра.

— И поверьте, батенька, только единоличники накормят страну.

— Да как ее накормить, если кроме ломаной спины, топора да вил, в хозяйстве одни мыши?

— Я же вам сказал, что государство всячески идет на встречу энтузиастам, председательско — директорский корпус толкает в тигли не те реактивы, но время, время, батенька, работает на реформы. Год-другой — и наступит стабилизационный период. Купите ружье для защиты.

— Снег наступит, — буркнул Иван Иваныч. — Баба поедом съела, хоть веревку намылилай.

Примерно в таком духе они еще толковали верных полчаса. Мэра никто не тревожил телефонными звонками, никто не рвался на аудиенцию. Иван Иваныч невольно сравнил прежние времена, когда секретарь райкома одним замахом кулака по столешнице решал вопросы куда круче, сравнение оказалось не в пользу нынешних властей. Поблагодарив мэра за советы, Иван Иваныч покинул мэрию.

Из районных начальников он знал еще главного врача. Тот приезжал лет семь назад анатомировать побитых электротоком коров. Когда он спросил прохожего, где найти врача, прохожий сделал хитрую рожу и надоумил:

– Этого проныру поищи во-он у того гаражика.
И правда, ветврач Бабушкин лежал под своей машиной. Когда Иван Иваныч выложил свою печаль, Бабушкин рассмеялся:

- Так гони своих баранов, я им проштамплю лодыги.
- По десятке кило?
- Хоть по десятке, хоть по двадцатке. Шлеп! – пошла, миная!
- Ты своих овец будешь сдавать по десятке кило в живом весе?
- Послушай, у меня нет овец, у меня есть машина. Вот наведу ей косметику, tolкну и куплю «японку». Да брось ты своих овец, убытки одни. Мы не Запад, у нас всё с плеча, отстали мы сельским хозяйством лет на сто, а на Западе... Компьютер! Ты зайди в магазины, посмотри мясо заграничное, ведь красотища! А наше – одни жилы, супец сварить не знаешь как. А шкуры куда девать? На изгородь вешать?

Беспокойно вылупив белые глаза, Иван Иваныч потерял дар речи, а когда обрел, Бабушкина уже не было в гараже.

Ухватиться за начало нитки бюрократического тенета Ивану Иванычу оказалось не под силу.

В приемной бывшего начальника управления сельского хозяйства ему посоветовали письменно изложить суть дела. Долго сочинял. На жалость давил, на скорые морозы, на льготы единоличникам. Когда умные люди прочитали, то прямиком направили к главе администрации Большедворского сельсовета.

И поворотил Иван Иванович оглобли на родную сторону.

Проходя поздним вечером мимо коровьего загона под деревней Малый Двор, швырнул заграничные галоши через изгородь и добавил:

– Окаянный круг!

Откровение

Мою мечту стать писателем, вспарусил в Ислочи настоящий писатель, эдакий гравастый благородный лев, баловень фортуны. Шел писательский семинар, много подающих надежды людей съехалось со всей России и Белоруссии. И странное дело, едва я увидел скопище титулованных властелинов пера, как всеми фибрами тела почувствовал, что расту, отрываюсь от земли, ноздрями ощутил запах поздравительных телеграмм и запах моей первой книжки. В этом, далеко не азбучном море, моя слабенькая, не проконопаченная познаниями жизни писательская

лодочка, качнулась на волнах славы, и, черпая бортом наставления боголиких старших товарищей, поплыла, подставляя волнам скулы бортов. Я потерял курс, забыл про свой далеко нефасонистый костюмчик, мои звезды попрятались от стыда за чужие толстые фолианты, меня начало швырять как щепку от одной многотомной величины к другой, когда потерял весла не заметил, а волны все круче, пропасти все глубже, в какой-то миг сам недовольный Нептун сгреб мою посудину волосатой ручицей и кинул в пучину яростного противоборства с самим собой: «Ты за чем приехал, колхозник? Хочешь быть вровень с ними?»

— Я не высасываю из пальца, — лениво говорил настоящий писатель.
— Я ложу перед собой чистый лист бумаги, пока мои мысли витают невесть где, их просто нет, сосредотачиваюсь, и вдруг чувствую, как что-то нежное и приятное, как дуновение ветерка в знойный день, как эмпирическое божество — я признаю только Беркли, Юма и Маха, садится мне на шею, шепчет, уговаривает меня ограничиться совокупностью ощущений, противопоставить себя объективному миру и я, подчиняюсь, подобно Скиапарелли Джованни ищу свой канал; на Марсе проще. Неохотно беру ручку и замираю: миг! Миг рождения новой вещи! Строчу, расписываюсь. Боже упаси жене или теще в этот миг спросить меня, заварить ли мне кофе. Строчу и строчу, что ночь за окном, что день — не замечаю, лишь когда упаду обессиленный, с торжеством царя спартанского Леонида, совершившего подвиг, я разрешаю жене войти в мой кабинет....

Вот так говорил настоящий писатель. Мне было стыдно. Я чувствовал себя ничтожеством. Какое разительное противоречие стихий! Какие в деревне кабинеты, в моей избенке теснота, книги лежат под кроватью, на книгах стоит швейная машинка, из книг негодный сынишка строит домики, на Энциклопедическом словаре постоянно красуется утюг, того гляди жена моими манускриптами растопит печь. Как же, будет она стоять рабыней около меня и ждать, когда соизволю принять из ее рук чашечку кофе. «Столько-то не видишь, навозу полон хлев, нет бы выкидать, дак сочиняю небылицы», — вот ее любимое напутствие.

В тот вечер я ушел с праздничного банкета совершенно трезвый. Побитой собакой вернулся в свой номер, лег на кровать во всей одежде и замер, уперев глаза в потолок. Какие были у меня мысли? Поганые были мысли. Сколько было задумок, сколько фантазий, неизданных книг, и все прошло, как белых яблонь дым... Господи, и почему добрый ангел или фея облюбовали шею этого гривача? Чего им не нравятся шеи таких как я, молодых и выносливых? Где они, добрые помощни-

цы? Неужели я такой бесталанный, противный, глупый? Как хотелось прошагать войну глазами отца... Я на фронте, идет смертельный бой. Пороховой дым застилает глаза, падают срубленные снарядами яблони, красные спелые яблоки засыпали сад, это скорее не яблоки, это капли крови убитых бойцов, горит мост за хутором, свистят пули, осколки режут пространство, из окопа головы не поднять... Из хаты выбегает молодая пышногрудая казачка, — скорее всего она хотела собрать яблоки, охает и валится раненая — нет, она бежала ко мне, я выскакиваю из окопа и зигзагами бегу к ней... Я спасу её, меня не убьют, не годится умирать на бруствере своего окопа, я первым поднимусь в атаку... Чем дальше я лежал на кровати, тем сильнее и сильнее мне хотелось уложить свои мысли на бумагу. Пусть неряшливо, сумбурно, но написать так, как думаю. Я приземлился, т. е. прошел за стол, выхватил из пачки лист бумаги и только хотел озаглавить свой труд, как настоящий писатель явился будто из тумана. Он явился мне в образе вражеского солдата, сто лет нестриженного, немытого, строчащего из автомата прямо в меня. Я уцепился руками за его оружие, я слышал характерное чмоканье горячих пуль в мое тело...

Достал из холодильника бутылку коньяку, — берёг на торжественный случай, когда буду сладко умирать вознесенный до небес — я так надеялся на свои исписанные тетрадочки! и сказал себе: «Ты же взрослый человек, перестань фантазировать», налил полстаканчика. Еще посидел над листом бумаги. Долго морщил лоб, кусал ручку, даже снял рубаху — и после второго приема «лекарства», увы, никто не хотел садиться на мою шею. Вроде шея чистая, крепкая, не мало мешков зерна, фуража, картошки проехало по ней, а вот поди ты, на чью-то с разбегу прыгают, на мою — подсадил бы да не взбираются. После третьего приема — на двух никогда не останавливаюсь, всегда наливаю третью стопку, загадал на молоденькую ведьмочку. Сторона чужая, меня здесь никто не знает, дальше гостиницы не хожу, чего бы ведьмочке какой не разговеться? Погода-то какая шальная на улице, темно, метельно, по стеклу скрипит жалобно ветка тополя. Летела бы, допустим, к маменьке, да раз! .. в форточку, приворотила к вологодскому мужику, благо устала, волосы растрепала, платье обледенело, потом бы матери чего-нибудь наврала. Уж ерзай на моей шее, грейся, до мозолей крутись со своей метлой, вытерпел бы, лишь бы шептала и шептала, я бы строчил и строчил... Прислушался: за стенкой мужской тенор снисходительно итожил труды благородного Ивана Гончарова торопливому женскому диксанту.

На другой день на секции обсуждали некую чертовщину одного на-

чинающего рязанского писателя. Этот рязанец не пошел по тенистым аллеям своего земляка Сергея Есенина, он пробрался в библиотеку самого Пифагора Самосского и среди умных механизмов старика отыскал много счастливых «супружеских» чисел. И мы, слушатели, пробовали прикладывать числа 220 и 284 к 13, то действительно получался «лондонский вариант». Плюс погода в его сочинении была на столько дикой и неуправляемой, то многие усомнились, может ли счастливая пара заснуть в объятиях друг друга, Эдгар По не раз бы оглянулся за свою спину, прежде чем решился обмакнуть перо в чернила. Рязанца, образно говоря, зарубили на корню. С горя рязанец принял на грудь изрядную дозу спиртного, задурил, служба «Дома литераторов» вызвала «скорую». Скорее всего, тут вмешался Эдгар По, – не надо напоминать экспансивным и впечатлительным молодым писателям про фантасмагорию нашего ума.

На суд писателей вынесли сценку, суть которой примерно такова: мужчина едет на курорт, заведомо зная, что едет подцепить бабенцию Из другого города на тот же курорт едет на половину разведённая женщина, заранее предвкушая встречу с холостым мужчиной. Или близко к холостому. Вот ловелас идет по пляжу, – красивый балбес! и пинает консервную банку. Навстречу идет Она, рыжая (почему рыжая, не брюнетка и не блондинка?), полуобнаженная, ловко поддает закатившуюся ей на носок туфли накинутую мужчиной банку. Потом они (быстро сmekают на курортах!) пасуют друг дружке банку, и... (быстротечный финал) идут в номер. А дальше – все как у людей. Напрасно я пытался подхлестнуть свое серое воображение: так в чем же соль, где красота рассказа, где столкновение страстей, где боль души, к которой призывал Достоевский? И под каким бы углом не представлял картинку, все сводилось к самой обыкновенной похоти. О чем прямо и сказал товарищам писателям. На меня смотрели... вы вспомните, как враги смотрели на советский молоткастый серпастый паспорт. Зубастые молодые писатели не смолчали, уличили меня в псевдологии, загрузили мою лодку беспокойными переживаниями за род людской, но на этот раз я удержаться на плаву. Согласен, я тугодум и моя проза топорная, но шляться от безделья по пляжам не буду, искать приключений на заднице тоже, я буду реалистом суровой колхозной жизни.

Одна дамочка, по голосу явно похожая на ту, что защищала Ивана Гончарова от нападок мужского тенора, тоже не попала в зенит славы. Заперлась в номере и три дня не выходила из него. Когда же руководитель секции пришел извиняться к ней, выплеснула ему в лицо ведро помоев.

Итак, я начинаю исповедь. Как на духу признаюсь, почему я начал сочинять. Желание пришло не сразу, я родился с поздним зажиганием, желание пришло от скуки. Зимы раньше нудные были, ни электричества, ни телевизора, одно радио шепелявит что-то в углу. Притом нас все пугали Америкой, весь народ каждый день ждал войны, не до веселья. Соберётся вечером полная изба народу, кто о чем да сто раз по одному месту, вроде песни отчаянного гармониста «отвори да затвори». Пробовал валенки подшивать. Потренировался на тех, в которых в ремонтную мастерскую хожу, и такие лодки получились, что больше за шило не брался. Вот как-то сосед мой Иван Миронович и говорит, мол, не дано тебе быть шорником, парень ты грамотный, записывай про старину, ой как потом сгодится. Перемрет старое поколение, а новое не такое растет, носы в город вострят, пиши, чтоб не прервалась связь времен. У нас, говорит, по сельсовету вон сколько полковников, два генерала, даже в Кремле Степан Ильич пожарным служит, ученых много, матери - героини, а сочинителя нет. Вот я умру, кто вспомнит лет через двадцать, сколько я гектаров перепахал, сколько зародов сена выметал? И про существование мое не вспомнит никто. Молю Бога, чтоб крест на кладбище подольше простоял на моей могилке.

Гордилась прежде наша суземная сторона знаменитыми земляками. Из избенок кособоких с подслеповатыми окошками, с полатей, с картошки генералы пошли! Приезжает в гости Иван Иванович, это же праздник, это событие! Сам генерал приехал! Всяк в гости приглашает, зайди, не обессудь, Иван Иваныч. Опрокинули за край родной по паре стопок, бьет мужик генерала по спине: «Помнишь, Ванюха, как по гувнищу весной босыми бегали? Снегу еще много, а мы обутки поснимаем и с разгону, прямо в студеную воду!.. Эх, Ванюха, Ванюха, голодные, холодные, а счастливые мы были. Не завидовали друг дружке. Что завидовать, у тебя в котомке пирог житный, и в моей такой же. На тебе штаны портняные, и на мне портняные. У тебя батька на войне убили, и мой убитый. Твоя матка двадцать трудодней заробила и моя не больше. А помнишь, как ты лошадей на жнейке гонял?»

Про генералов еще не закончил, как загорелся новой темой, про матерей многодетных. И надо же, той зимой провели в деревню электричество и пожаловал «Его Величество Главный Лодырь» – телевизор. Загорелся, отложил сочинительство на неопределенный срок. Жене на злу голову подавай телевизор. Купили. По началу их всего два в деревне было, видимость – в грозовых облаках похожая на монашку личина сгребает граблями шишки в сосновом бору. Весь вечер настройку ре-

гулируем. Звук – ты сядь на кошку, вот примерно такой. Чего не понимаем, там догадки многоярусные строим, кто от удивления охает, кто сморкается себе на головки валенок, а бабка Наталья знай хранит. В избе у нее студено, дров с поколоты, рада теплу.

Надоели мне ликбезовские собрания, стал заниматься вредительством. Залезу незаметно на потолок, засуну иглу хомутнице в кабель, и все, отговорила роща золотая. Минут десять сидим, ждем, с надеждой в мутное стекло смотрим. Полчаса ждем – нет, спрятались все дикторы. «Опять, говорю, в Тотьме пьяный мастер фуфайку на антенну кинул» Старухи рот открыли, на меня смотрят. «Мужик там на телевышке ревнивый служит. Бабу свою ко всякому прохожему мужику приминает. Развелись через эту ревность, а как подопьет, и к жене, охота высказаться. Та ему от ворот поворот, он со зла фуфайку и кинет, не мне так и не людям» И пошли обсуждения. Кто бабу ругает, кто мужика, и теше достается, станут вспоминать подобные случаи «Уж бабе-то надо бы поноровитьца. На эдакой ответственной работе мужик...»Этот мужик с телевышки долго меня спасал. Даже жена верила. Бывало, нарочно притворюсь пьяным, хрюплю, ну, думаю, расположатесь бабушки, да не тут-то было: «Поверни, молодая, на бок, – присоветуют жене. – У него и дедко эдак преж хрюпел. Наталья.. Наталья, ты какого лешева!.. Помнишь, как Михайло раньше Кузьмовичев хрюпел?» Жена наклонится, шепчет: «Кончи. Парня с ума сведешь».Потом стал придумывать всякие небылицы из жизни колхоза. Иду с работы затемно, меня уж ждут, включай ходчее телевизор, «седни-то как там. Эк вчера лихо плясали, долго еще уснуть не могла». «Обнаглел, – объявляю прямо с порога, – наш председатель. Надо за передачу в Тотьму сто рублей в месяц высыпать, дак говорит, я не смотрю, кто смотрит, тот пускай и посыпает». Все, сегодня – завтра телевизор молчит. Когда – то председатель колхоза деньги пошлет в Тотьму. Пусть ему икается. Потом при встрече председателя укорят старухи, мол, столько-то жаль, мы ли не поробили.

Итак, пробыл час: мой первый рассказ опубликовала районная газета. Я не стал прятаться за псевдонимом, подписался своей фамилией. Четыреста лет наша фамилия Руси известна, чего скрываться, не новгородский какой шильник. Вот тут и расчухал я, по чем оно печатное слово в нашей стороне. Не зря сказано: написано пером, не вырубишь и топором. Оказывается, мои герои смотрят в тоже окно, что и я, они говорят на том же языке что и я, бранятся как бабы на нашем скотном дворе, а кто на праздниках лезет к чужим бабам? – Верно, наш Санко Шишебаркин! У него мода чужих баб за коленки хватать. «Это про кого он

наплёт, будто немножко гнусавит? Видно ему Костя досадил, так бы не стал хорошего мужика на срам выставлять» Короче говоря, я задел самое больное: самолюбие. И напрасно пытался доказать людям, что мои герои доят коров на Луне, комбайнеры жнут хлеб в Бразилии, дерутся в соседней Финляндии, и десять процентов правды, остальное вымысел автора. Нет! Это ты выпачкал нашу деревню! И ты не автор, ты стукач, осведомитель КГБ, агент ЦРУ, «писсака». Так на «эс» нажимают, будто проблемы с мочевыделением. Нет пророков в своем отечестве. Горько, обидно... Вот тут почешешь репу, сочинять или не сочинять. Со мной стали осторожничать, все ждут подлости куда круче, чем «статейка» в газете. Намекали, что однажды намнут бока, колышком ломанут по хребтине... Не поверите, раз я приезжаю в соседней колхоз за какой-то деталью к трактору. По слухам, у одного мужика была такая деталька. Как водится, пузырь за пазуху и к нему. И что думаете? Женщина едва расчухала, что я и есть тот самый (тут следовало бы четко прописать мнение женщины о деревенских очернителях, зубоскалах, сочинителях, пустозвонах, лодырях и вообще ученых людях, только придется умолчать, ибо желчь может прожечь бумагу), пришла в неописуемую ярость, кулаки сами собой сжимаются, глаза мечут молнии. Пообещала мне так «мазнуть», что косяки вылетят из «высшего образования». Помилуй бог, оправдываюсь весь смятый, как моя разлохмаченная в руках шапка, ведь я же не знал, я сочиняю наугад! «Знать надо!» – рявкнула мне в лицо и дверью перед носом так хлопнула, что полотно дверное едва с петель не слетело, а с потолка посыпалась земля. Рассказываю соседу про такую историю, а он газетку с моим рассказом принес, смотрю, сплошь строчки красным карандашом подчеркнуты.

– Не этого ждал? – усмехается. – Думал, во, какой я герой? Только хвалить-то тебя пока рано. – Газетку разглаживает на столе, очки одевает. – Ты на бабу обижаешься, дурой ее набитой считаешь, а зря. Сгреб – то по медвежьи, согласись со мной. Ты себя на ее место поставь. Допустим, живет она со своим охламоном, радости ноль, слова доброго не сказал, на руки даже в сельсовете в день свадьбы не взял, не приласкал, а ей счастья хочется. Своего, бабьего. И цветочек понюхать, и соловушку послушать. Зачем ты от нее это отнял?... Не перебивай. Выслушай, я раньше тебя родился. Ты оставил ей пеленки, обязательный пьяный мат мужика, скотный двор да косые взгляды свекрови, будто у девки задумок иных не было. Деревня знает, в деревне секретов нет, только одно дело своя деревня, и другое дело – белый свет. Невелика печаль, если кто-то когда-то подковырнет, перетерпела и дальше. А ты взял ско-

бель, и ошкурил бревно, обнажил свету наготу. Правильно, ты не хотел унизить ее, ты рисовал наугад, а получилось что? Ты обокрал бабу, не мужика ее непутевого высмеял, ее раздел. Берешь голый факт – смешно, а за смехом – жизнь. Я вот так понимаю: оказался ты к месту, но... хотелось бабе не нарядами похвастать, хотелось ей исповедоваться, и ты тот, кому она исповедовалась как бы нечаянно, во сне; она слезами подушку мочила, а ты слез не заметил. Или с придурковатым мужиком так и жена должна быть придурковатая? Дескать, чего тут выдумывать, два сапога пара? Нет, дорогой ты мой. Хотелось ей про жизнь стылую рассказать, но так рассказать, чтоб самой не пораниться, чтоб ты понял ее боль, чтоб проняло того, кто жизнь ей дал, чтоб она понежилась в своих несбывшихся мечтах, и веру в день грядущий укрепила, ты же ей душу наизнанку вывернул. Ничего беспринципного не бывает. Это не баба на тебя зверем кинулась, это душа ее истерзанная. Душу скобелем обдирать нельзя.

И зачем я стал сочинителем? Надо было учиться на доктора. Вон брат у меня врач известный, ходит в белом халате, бабы к нему на прием в очередь жмутся... Пожалуй, надо было идти в учителя. У нас с сестрой есть что-то общее, оба тяготеем к детям. Или моряком, как мой другой брат. Весь свет обошел не один десяток раз: диковинные животные, акулы, тропики, доллары... Главное, в детстве меня тянуло море. В юности небо тянуло... Наверно лучше было идти метро в Москве строить как мой третий брат. Двадцать лет фотография на доске Почета, и я бы!... Наш род такой, коль взялись за гуж, стонать не будем, потащим воз, пока не упадем. Что же я заслужил, пребывая в писателях? Денег? Увы. Славы? Тьфу! Только боль себе нажил. Как тянет лист тяжелая роса, так тянет меня к чистому листу бумаги, тянет к познанию жизни, к познанию загадочной человеческой души, кто-то засел во мне и терзает: пиши! Ты должен! Напиши так, как никто до тебя еще не написал.

Время лучший лекарь. Ушли в мир иной добрые старухи, некогда досаждавшие мне, и сосед Иван Миронович убрался на покой. Вечная ему память. Теперь никто не мешает, уж и книги мои выходят в печати, а вот настоящим писателем я так и не стал. И вовсе не от того, что никто не сел мне шею и не прошептал ни одной строчки, потому, что понял другое: раньше меня народились таланты и гении, которым я в подметки не гожусь, писатели с большой буквы, прозорливые инженеры человеческих душ, так дай мне, Господи, хоть чуточку приблизиться к ним!

Отцовский рубль (сказка)

Город Великий Устюг в старые времена славен был церквями, богатыми ярмарками, кузнечных дел мастерами, купцами, ратным народом и вольной волюшкой. Амбаром Сибири Великий Устюг считали, заставой Москвы, занозой Великого Новгорода, пристанью Америки, воротами Европы. Жил да был в городе купец богатый. Было у него три сына. Собрался купец в Америку за рухлядью, стал думать да гадать, кого из сынов старшим после себя оставить. Дорога дальняя у купца, и море штормовое его ждет, и голод будет, а случись смерть?.. Как ни клади, одного старшим поставишь, двое обидятся. Обидятся да за ножи схватятся? И прахом пойдут его хлопоты, не в радость будет добытая копеечка.

Зовет на совет нескольких купцов-товарищей. Хорошо понимают тревогу купцы-товарищи, каждый из них если не испытал подобное, то испытает еще. Думали, лбы морщили, отцов своих вспоминали, к лицу Спаса обращались за помощью. И решили: дать всем троим сыновьям по рублю и пускай через полгода всяк похвастает, какой прирост к рублю имеет. Согласился купец: воробей зернышком съят, купец копеечкой.

Сели юноши на барку – на Вологду барка шла, поплыли вверх по реке Сухоне. В Вологде обнялись, расцеловались и разошлись в разные стороны. Старший брат пряников на рубль накупил, торгует прямо у пристани, средний сошелся с целовальником из винной лавки, торгует винцом дрянным, младший все ходит и ходит по городу, приложения своих сил не чувствует. На качелях девки качаются, простолюдины кто с работы, кто на работу бежит, посадские вышагивают, животы выкавтив, монахи стену церковную выводят... За город вышел, сел на камень, рублем играет. Вот велика ли денежка, а и пища в ней, и власть в ней, и почет в ней. Долго ли этот рубль взять да издержать? Тут идет стариик, борода лопатой, батогом подпирается. Зорко на купеческого сына смотрит. Вскочил юноша, поклонился старику.

Разговорились. Молодой был парень, бесхитростный, все без утайки поведал.

– Есть работенка, – говорит стариик. – Не каждому она по душе... Были охочие, брались споро да скисали скоро. И срок небольшой, каких-то полгода, тебе о выгоде думать надо, на то ты и купец.

– Отец раз сказал: сухую траву коса не берет, зеленую под корень режет. Говори.

– Умно сказал твой отец. Пошли со мной.

Пришли они на поле. Старик батог в землю воткнул – шалаш явился.

– Тут живи. Каждый день ходи на торговую площадь, собирая навоз лошадиный и сюда носи, раскидывай кругом.

– Не в обиду спрошу, отец: с ума ли говоришь такое? Десять телег я на рубль куплю, а чем сам питаться буду? И зачем сюда носить да бросать?

– Много вопросов задаёшь, ответ прост: берёшься?

Помедлил сын купеческий и согласился.

Ушел старик. Сидит юноша в шалаше, руками колени сцепил, голову на колени положил. Нет, не бывать ему на управе отцовским добром. И моложе он братьев, глупее и не расторопнее. Знать планида его такая навоз из-под лошадей собирать.

Стал купеческий сын навоз собирать на торговой площади, собирает да на поле носит. Люди смеялись над ним, ребятишки натравливали собак, братья прознали – носы зажимают, в родстве отказались. Много лиха перенес сын купеческий. Тепло ли в шалаше, когда ветер до костей пробирает? Сытно ли, если кормишься именем Христовым? Только не роптал, и мыслей таких не держал, что обманул его старик. А отцовский рубль берег. Не разменял и не потерял. Два дня осталось до срока, заболел юноша. Знобит всего. Видит воду в реке, а до реки дойти сил нет. Провалился в беспамятство.

…День нет свежей пищи и другой нет. Царь все червей спрашивает своих подданных: где наш кормилец?

– Полгода наше племя преумножалось и достигло невиданной силы, мы уходим в зиму упитанными как никогда, скоро морозы, но еще есть время стать много сильнее. В чем причина?

Поспеши гонцы грозного царя к шалашу, и несут с земли плохую весть под землю: лежит наш кормилец больной.

– О, глупый! – ударил себя по голове хвостом царь червей. – Неблагодарный! Я привел его сюда, обнадежил и забыл! Сытость помутила мой разум!

Очнулся сын купеческий. Видит, стоит перед ним старик борода лопатой, кружку с водой подает. Выпил и отступила болезнь – лихоманка.

– Копай под собой, – велит старик. – Три котла серебра найдешь. За терпение, за унижение, за честность.

Выкопал юноша три котла серебра полные. По городу походил, облюбовал парнишку оборвыша, нанял его вместо себя навоз собирать и на поле носить, большие деньги дал и клятву снял работой дорожить.

Последней водой плывут братья домой. Уж сиверко задул, забереги стеклом тонким зазвенели. Братья в богатых одеждах сидят, сундуки добра нажитого сторожат, младший котлы свои дерюжкой прикрыл от глаз любопытных. Одежонка на нем изорвалась, живот к хребту прирос. Братья видят котлы ржавые, смеются: наш-то мал да удал, не посрамил род купеческий, котлы на помойке подобрал да домой везёт. Всего в городе Великом Устюге много, вот только железа ржавого не хватало. Отец похвалит. Молчит младший. Отвык он смеяться, за эти полгода все о бренности жизни размышлял, о месте и времени человека.

Помнит Великий Устюг тучу каменную, молитвами святого Прокопия пролитую за городом, помнит и наводнение осенне. Много дней шел дождь. Залила полноводная Сухона наволоки, и река Юг расплескалась – расколыхалась. Надо город спасать, надо дамбы ставить. Старшие братья с лопатами пошли, а младший поехал на лодке народ окрестный собирать. Подплывает к деревне, которой затопление не грозит, весь народ зовет на помощь, обещает щедро со всеми рассчитаться серебром. Народ русский на добро всегда добром откликается: отец-то честность во главу угластавил, на копейку никогда не обманул.

Устоял Великий Устюг. Опять колокола на церквях поют, опять кузнецы горна раздувают. Рубят плотники избы взамен тех, что поток унёс, младший сын купеческий всем помошь оказывает.

Один рубль отцовский себе оставил. Отцом, говорит матери, в науку даден, он меня в люди выведет.

Санным путем возвращается домой отец купец с ворохом рухляди, а хорошая новость на каждом постоялом дворе его встречает: сын-то твой младший город спас! Это ли не награда родителю!

Охотничья байка. (бухтина)

В конце августа повсюду горели леса. И нас Бог огнём не обнёс. Дым стоял сизою пеленою. Торфяники занялись, а торфяники могут гореть годами. Вечерами огромное солнце садилось в дымном тумане. Ночами едкий запах прибывал, дышать было тяжело. Мечтается об окрошке, прохладе и тихой речи, в которую можно не вникать, не слушать, вот нужно для взрослого человека что-то детское, убаюкивающее, хочется испытать великое равнодушие ко всему на свете. В такую лихую пору командировала меня жена за саженцами липы, таскался в

соседнее Закорино. Неохотно пошёл. Деревня вымерла, ещё десять домов стоит – заходи да живи. Лип в Закорине уйма, у Кондратьевых весь огородец липками зарос. Жители кто умер, кто в райцентр перебрался и у жуликов бизнесменов на станках лес перемалывает, одним словом народ как корова языком слизнула. А поля давно в наших краях не пашутся, и овсы не сеются, дабы колхоз мы изжили, усвистил нас покойный Ельцин Борис Николаевич, что стыдно жить стадом. Гляжу, медведь повадился в Закорине гостить, рябинники ломает. Князем отважным заходит от крайнего дома и бредёт вдоль деревни, по вкусу ягоду выбирает, не сдуру через колено гнёт. Трава, как в песне поётся, по пояс, пахнет мёдом с дымком… Всякой ягоды напёрло много, всклень. Шумнул мужикам: косолапый под носом пасётся, за хвост схватить можно. Охотничий люд загорелся. Заядлый медвежатник военком Рябов стоптал путевку, – у нас ещё военкомов уважают, охотовед военкому в путевке не откажет, и вот мы всемером, я да военком Рябов, однорукий инвалид – пенсионер Вася Булатов, безработный учитель Константин Степанович, двое из райцентра – парни молодые, нахрапистые (по слухам прошлым летом промышляли бивни мамонта в Якутии и толкали в Китай), да студент Шурик Матрёнин, вышли на исходные позиции. У парней прицелы ночного видения, у военкома Рябова автомат АК – 47 с двумя полными рожками патронов, у Васи Булатова карабин «Вепрь», у Шурика Матренина карабин «Лось», мы с Константином Степановичем по старинке, с двустволками – вертикальками. Вася Булатов одной правой управляет карабином как ложкой. Главное для него, приладится, а уж пальнуть – глаз ватерпас. Представьте себе картину маслом: дом – цитадель, пятистенок зимний и пятистенок летний, между ними сарай с хлевами, с сеновалом. Эдакая громадина длиной двадцать пять метров, окна в зимнем пятистенке в пятом венце, в летнем – в девятом (самых рам нет, сперли, сперли и все двери), справа соседствует дом Гриши Косого, слева – не распотрошенный пока дом вдовы Лапоткиной Евстольи. Медведь заходит от реки (поднимается в горушку старой межой), бредёт мимо обвалившегося колодца, на его пути дом Кондратьевых, не сворачивая, влезает в окно зимнего пятистенка и выходит с другой стороны через дверь, доходит до рябинников и давай трапезничать. Случись дождь ночью, медведь может отсидеться под крышей. Сбор был у меня. Всем нам жена в дорогу натолкала пирожков, какие с луком, какие с мясом, учитель Константин Степанович любит с капустой – ему с капустой по заказу. Ехали на двух машинах. Военком с учителем и Васей Булатовым на «американце», мы на «Ниве». Когда выходили из

машин, я заметил, как райцентровские парни прячут под рубахами бутылки с пивом. Смолчал. Нынче молодежь пошла - оторви да брось, скажут потом, что в темноте медведя за снежного человеком приняли. Ничего смешного нет. Прошлым летом, к примеру, вышел из лесу гуманоид, космат и дик, руки и лицо чернее головни, стал на дороге машины останавливать, выдавая себя за гаишника и требуя отступного денежного пособия. Едва угомонили, колом сзади перепоясали. Очухался и обратно в лес убег. И вот лезем все в окно, смотрим, на стене картина, хозяин, Гриша Кривой на обоях малевал: лежит на скамейке голая молодица, закинув руки за голову, волосы у молодицы густые, волнистые, в беспорядке свесились до самой земли. Рядом со скамейкой тазик, в тазик сунут веник березовый. Ясно, что молодица пропарилась в бане и лежит себе, остывает на улице. Насмотрелись мы на живопись, взяли под перекрестный прицел дом - мышь не проскочит незамеченной! На потолках домов вдовы Лапоткиной и Гриши Косого расселись. Да ты только ступи с крыльца, только покажи свою наглую физию... изрешетим!!

Ждать-пождать; чихать хочется от дыма. Темнеет. Лежим, разговляемся пирожками, самые зоркие с ночными прицелами были у нас дозорными. Боже, как печальна иной час наша природа! Как грустны, безнадежны наши пространства, помноженные на безнадежность наших мыслей! В Закорине жили поколения людей, дети прощались с отлетающими журавлями, таинственно манившими их в дальние страны, старики просили смерть обождать, дать отсеяться... Тоска расплывается по всему телу. Вот бы, думаю, жила бы деревня да была бы в силе, да мы бы, люди работные, а не от скуки зверем забавляющиеся, как в добрый час пришли на деревенский праздник... Гремят по большаку машины с лесом. Который - то из дозорных сигналит фонариком: идёт! И слышим все, что зверь через окно забрался в избу Гриши Кривого. Все слышали, как он когтями бревна стены драл. Я, грешным делом, прикинул, что медведь тоже не прочь глянуть на хорошенькую молодку на стене. Мой палец онемел на спусковом крючке. Дышать боюсь, а так хочется чихнуть... Явственно слышу - на утре мы обменивались мнениями и все подтвердили, как зверь ходил по избе, вроде тихонько шептал, вроде плакал, потом захрапел. Сползаем с лабазов - потолков, идём на храп, карабины, ружья, готовы к бою, военком Рябов запально дыша с автоматом впереди всех. Через дверной проём ступаем в избу, - точно, медведь разлёгся на диване, картиной со стены морду прикрыл наглую. И... я дунул из обоих стволов, загрохотали карабины и автомат военкома...

В ключья разнесли облезлый тулуп и диван.

Когда выходили из деревни, над заросшими ивняком полями поднималось солнце, теплый горьковатый дымный ветер шевелил некошеную траву. Шли медвежьей тропой, один за другим. Задний охотник – карабин наизготовку, защищал наш тыл. Тщательно изучая, обошли свежую кучу плохо переварившихся красных ягод.

– Добро накатил, – смеётся Шурик Матренин.

– Настоящий диверсант! И когда ОН рябинник успел обломать? – недоумевает военком Рябов, – от меня… ну, метров сто, от Константина Степановича метров семьдесят, от вас, парни… Который из вас храпел, гады?!

Пеструха (притча)

Лет тридцать назад разлёгся под деревней скотный двор. До горбачевской Перестройки долежал. Стены гнилые, редкая рама с целыми стеклами, торчат из рам пучки соломы, по потолку мыши бегать опаиваются, навоз на лошадке каждый день вывозили. Бессменная возница бабка Фекла умерла, начальники замены найти не могли, и надумали установить во дворе железный транспортер.

Стояла с цепью на шее на том дворе корова по кличке Пеструха. Место её было крайнее от дверей. Зимой люди дверь распахнули – её холодом обдаст, летом овод летит – ей в вымя вцепиться норовит, пьяный скотник по проходу идёт – пнёт, и так далее и тому подобное. Что скотине, людям, крайним и последним, тоже жить не просто. Как транспортёр монтировали, поворотные станции цементом заливали – страху натерпелась Пеструха много. Уж послушала она речей матерных! Водку люди пили тут же, возле коровьих хвостов, бутылки в цемент толкали. Как – то зимней ночью лежит Пеструха, тяжело вздыхает, вспомнила, как маленькой бегала на наволоке, телятнице Маринку вспомнила, и руки Маринкины, пахнущие хлебом и солью припомнила, и сено, которым лысый добряк Иваныч её кормил, вспомнила. «Маринушка ты моя, – передаёт Пеструха умом своим Маринке послание на расстояние. – Не ведаешь ты моей тоски – печали. Ухаживают за мной не люди, ведьмы сущие. Наехали эти ведьмы со Ставрополья, им что корова, что верблюд – всё едино. Вымени не подмывают – гогочут, мол, молоко с навозом жирнее; вроде у меня мастит начина-

ется – ветеринару наплевать; скотник бьёт меня скребком; транспортер у нескольких коров искалечил ноги; кормушка провалилась и силою бросают прямо под ноги... а хуже всего – зоотехник признаёт меня страсть тощей и грозится сдать на мясо. Кормят сеном заплесневелым – нынче люди сено заготовляют машинами, досохло – не досохло, закатали в рулон да отчитались скорее. Комбикормов нет третий год, про хвойку не мечтаем даже... Другие доярки в бидоны подливают воду, чтоб надои были большими, а моя хозяйка не подливает, она моё молоко домой уносит... бригадир успокаивает, мол, скоро девчата школу окончат, придут на ферму доярками работать, да веры у меня бригадиру нет... Хоть бы ты, Маринка, приехала на каникулы из города...»

Пока слала Пеструху такое послание по воздуху, разгорячилась вся. Вскочила, дергалась да дёргалась, сорвала цепь. В двери подошла, запирку рогом подделя, распахнулась дверь – полной грудью вдохнула воздух свободы. Замыкали во дворе коровы, стали тоже цепи рвать, да прибежал скотник, дверь закрыл, на коров страшно накричал, а что Пеструхи на месте нет, даже не заметил.

Не пошла Пеструха к злым людям, пошла в лес. Шла да шла, на лосиную тропу вышла, зашла в болотную глухомань. Трава пожухлая, осока, да над душой никто не стоит, не пинает и не хлещет – ради свободы стоит терпеть!

Морозы ударили.

Волки завыли.

Браконьеры на страшных машинах кругом болота ездят.

Вылез из тины болотной недовольный Водяной, страшает:

– Эх, надоела ты мне своими вздохами! Спать мешаешь. Вот утащу тебя, вредную!... Чего ревёшь, чего страдаешь за весь белый свет? Сто лет жил лиха не ведал, а тут... Утоплю!

– Друг ты мой по несчастью, – говорит печальная Пеструха. – Недолго тебе беспечно жить осталось.

– С чего бы это?

– Вот придут люди меня искать, на тебя наткнутся. Меня на живодерню, а тебя выпотрошат, соломой набьют и в музей на всеобщее обозрение выставят.

– Тогда я тебя обязательно утоплю!

– Не бери грех на душу. Сто лет живёшь, знаешь, в какой стороне лежит благословенная земля, что Индией зовётся, как укажи мне, и буду я тебе благодарна.

— В этой Индии, думаешь, и колхозов нет? — недоверчиво спрашивает Водяной. — Колхозы везде есть.

— Маринка говорила: «Корова в Индии священное животное. Ходят коровы в городах по улицам, кормятся в парках, заходят в храмы»... Маринка! Выведи ты меня отсюда!

— Ты что, дура, трубишь на всю Вселенную?! — испугался Водяной. — Иди, иди отсюда! Иди на восход солнца, всё на восход, не сворачивай! Поклонилась Пеструха Водяному в пояс, побрела в ту сторону, где Индия — страна процветает.

Отощала Пеструха. Снегу много, сена нет, кормится осиновой корой. Набрела на стожок сенца, наелась, да и уснула под стожком. Около стожка до весны кормилась.

Солнце всё выше и выше по небу заходило, снег стал оседать. «Вот и Индия! Солнце в Индии всходит» — размышляет Пеструха. Помычит — нет, не отзываются подружки. Приехал на лошади мужик за сеном, смотрит, от стожка одни стожары остались, и ходит поодаль корова пёстрая, не пугливая, телом тучная, шерсть на корове лоснится.

Удивляется мужик:

— Ты чья, Пеструха, будешь — то? В газете о пропаже не писали, в народе не говорят... Интересно. Да какая ты гладкая — то! Вот так раз!... Может, ты из соседней области зашла, а?

Хороший у мужика голос, добрый. За подпоры не хватается, бить — пинать Пеструху за провинность не собирается. Шапку снял, лысину солнцу подставил.

Подошла к мужику Пеструха, трётся головой о шубу.

— Мать честная!.. Это надо же?.. Тогда пошли. Вот баба обрадуется!...

Петух

Заблудился. Третий раз вышел к той же березе со сломанной вершиной. В моем сердце нет веры в сверхъестественное. Красным костром горит береза, летняя гроза прервала поступление живительной влаги, дерево раньше других почуяло свою осень. Пестерь с волнухами смозолил плечи. Какой-то злой рок сегодня преследовал меня. Напрасно я спешил, задрав голову в небо и все внимание сосредоточив на жмущихся к вершинам облаках. Какая-то растерянность овладела мною, мой умоляющий взор напрасно пытался признать лес, мои силы падали.

Вспомнилась покойница бабка, не раз говорившая мне, что идучи в лес не думай о чертях и бесах, делай свое дело да дорогу по солнышку запоминай. Кабы было солнышко... В голове ожили десятки смутных слухов о старике – лесовике, водящем людей кругами, о ведьмах и волках. Правда, подобные рассказы я считал пустыми баснями, но в данный момент они казались мне странными и жуткими, даже те, кто когда-то рассказывал о похождениях весело, теперь будто оглядывались и шептали на ухо: «Вот, думаем, и смертынька пришла-а...»

Опустился на трухлявый пень, обросший ягодником, минуты не поси-дел вскочил, почувствовав кожей сырость. Ветер не шевельнет листок, не качнется еловая лапа. Лес отяжелел, намок. Вдруг матерая ель будто вздохнула и медленно повалилась в мою сторону. Не знаю, как я оправился от ужаса, охватившего меня, как бежал от страшной опасности, но судьба благоприятствовала мне; когда сзади по пестерю с волнухами будто кнутом стегнула вершина, у меня создалось впечатление, будто я растерял все мозги. Под этим впечатлением я сунулся лицом в мох и готов был с миром отдать богу душу. И такой низкий, приземистый выдох – то сырой воздух тугой струей прошелся надо мной. Когда я поднялся на ноги, моему изумлению не было предела: почему, если не было ветра, упала, вырванная с корнями вроде крепкая с виду толстая ель? И почему она упала именно в мою сторону? Мозг медленно постиггал какой-то скрытый смысл, будь кто нибудь рядом, непременно указал бы на багровость щек – я чувствовал жар лица, сам того не ожидая, рассмеялся, и продолжал смеяться минуты две. Должно быть пестерь спас мне жизнь. Сучьями его разорвало, я невольно поёжился, представив, как лежу на земле пригвожденный ими... Ото всюду на меня глазели хихикающие мордочки кикимор, где-то в чаще прятался леший... Без пестеря – я кинул его, бежал прочь напропалую.

Перебираюсь через лог с обрывистыми берегами. Лог не косится лет двадцать, почерневшая крапива вровень с моим ростом, изрытая кабанами дернина, пахнет настоящей смородиной. Ручеек, извивающийся петелькой, вода в нем сонная, дремотная. Осклизлая колодина – ива упала должно быть прошлым летом, корка отопрела, а ветви угрожающе топорщатся. Вижу четыре острови, наклонившиеся какая куда. Подхожу к старому стожью, трогаю острови. Запустение. Я будто слышу немой укор легионов трав, внимая чьему-то шепоту. Скорбь по человеческим рукам, некогда косившим эти травы, усталость ожидания людской речи. Высоко-высоко за облаками летит самолет. Завидую летчику. На Воркуту или на Питер летит? Должно быть на Воркуту, времени

семь часов вечера. Деньги шахтерам повез. Только затих в небе гул, как я услышал голос петуха. Да-да, петух! Втягиваю в себя прелый запах, не дышу, весь уходя в слух. Точно, петух! Ради спасения себя начинаю вспоминать «Отче наш», говорю громко, пытаясь отогнать злые силы. Мною овладел самый настоящий страх: «я читаю молитву, он.. он читает свою». Материальный мир изобилует аналогиями с миром нематериальным, и потому то, что справедливо для одних вещей, должно для других. Я бежал на голос петуха, пусть вместо него будет кто угодно. Крик манил, туманил разум, я был согласен умереть, лишь бы увидеть предмет крика. Должно быть у человека в минуты сильного потрясения могут возникать такие сумашедшие идеи.

Распаленный бегом, яростно раздвигая все на своем пути, я прокочил опушку леса, заросшую малинником. Вырвался на приваленное дождями клеверное поле и осталбенел: метрах в семидесяти от меня по полю бегал черт в белых штанах с большой корзиной. Шагах в двадцати от него ходила чертовка, кокетливо покачивая бедрами и монотонно твердила, взмахивая рукой:

—Куть-куть, ку-уть, куть- куть.

Черт бегал с какой-то определенной целью, как бы норовил корзиной накрыть что-то ускользающее от него. Приглядевшись, я увидел петуха золотистой раскраски. Птица носилась вроде как кругами, потому чертовка оставалась в центре. Если это не черти, а самые настоящие люди, то почему они развлекаются своей игрой по границе, где дикий лес смыкается с культурным полем? Я присел на корточки. Видимость была хуже, но я боялся, что черти увидят меня. Странное дело, почему-то петух сменил дистанцию и понесся в мою сторону... Я нырнул в клевер. Топот почти над самой головой, я пришел в совершеннейший ужас, решив, что сама смерть несется на меня. В отчаянии я закрыл лицо руками. Странное дело, но петух не добегает до моей головы, делает разворот в обратную сторону, а стало быть, и черт поворачивает за ним. Грань, отделяющая жизнь от смерти, обманчива и неопределенна: наступает срок, и некое незримое таинство вновь приводит в действие сердце, серебряная нить не рвется и златой сосуд не разбит — я встаю с земли и иду за чертом. Черт подбежал к своей чертовке, отдыхает.

Здороваюсь. Черт похож на ухаря капитана с пиратской шхуны, взгляд властный, волосы что у петуха гребень, сам подвижный, во рту сбескивают золотые зубы. Черт протягивает мне руку... нормальная человеческая рука. Я облегченно пожимаю ее. Чертовка страсть похожа

на мою племянницу, черты лица лишены классических форм, но нежащая мой взгляд роскошная безупречность линий, подергивающаяся при смехе верхняя губа, завитые «шишкой» волосы, на конец высокий лоб, породили во мне некую завидость черту, владеющему таким сокровищем. Проживи я хоть тысячу лет, мне забыть охватившего меня волнения.

– Играете? – спрашиваю черта с чертовкой.

– Играем, – смеется чертовка. – Перед сном полезно.

Замечаю корзину, поверх ее красное одеяло. В корзине хлопают крыльями две куры.

Черт представляется: Валя. Представляет чертовку: Шура.

Верхняя губа Шуры подрагивает, большие глаза горят огнем, ослепительно-лиющая улыбка рождается в ямочке подбородка.

– Петуха ловим. Убежал стервец.

– Так вы бы выпустили кур, к курам он скорее придет, – предлагаю я.

– Пробовали, – говорит Валя. – Контузенный какой-то, от кур шарахается.

Примерно там, где я вышел из лесу, родился петушиный крик. Куры под одеялом всполошились.

– Пошли домой, – говорит Валя, взваливая на себя корзину с курами. – Завтра изловим.

Я спросил, как называется деревня, и очень удивился, узнав, что от моей Харитонихи до ихнего хутора Баское километров пятнадцать по карте будет.

Ночевал в Баском. Валя с Шурой единственные жители. Прошлый год переехали в дом умерших родителей Шуры – Валя действительно был капитаном на рыболовецком траулере, решили пожить «в дали от шума заводского».

Ближе к Филиппову посту довелось мне побывать в райцентре. Смотрю, на автобусной станции Валя из Баского стоит, клетку железную держит, в клетке зверушка лежит. Поздоровались. Спрашиваю, что за зверя ведет.

– Самочка соболька. В питомнике приобрел. Вроде мамой стать хочет. Будем с Шурой другим ремеслом заниматься.

– А петух?

– Живой! Где кочует – умри не знаю. Морозы были, Шура переживала, как да гребень поморозит. Долго гада ловили, отступились. Одичал. Как утро, на опушке и закричит, и закричит. Шура зерно носит, и до чего хитер татарин – не подойдет, пока она рядом. Как бы лиса не

оприходовала, уж больно мы привыкли. Кругом ни души, поневоле рад будешь. Охотник один приворачивал, говорит, диво-дивное: тридцать лет по лесу хожу, семнадцать медведей добыл, а он как прокричал над головой, полные штаны добра – медвежья болезнь пробрала. Шура так смеялась... Хоть бы выжил.

Плач Ярославны

Угорелой носится по домам завклубша, перепотела, раскраснелась, голос нежно-умоляющий: собирает народ на концерт. Неохотно идут люди, не валят валом, как преж валили, поотвыкли от массовок. То ли дело телевизор-забава, напоет и напляшет, а новостей - слушать - не переслушать. Есть желание наплевать в рожу толстопузому депутату, так наплюй, доставь себе удовольствие, еще пожелай ближе к ночи, чтоб его другие пузаны-недруги удавили. Стается завклубша отработать ставку. Ей из района сделали внушение (государство наше только с виду похоже на шоколадку «щедрая душа», а начинка...) – расходы возьмем на себя, но и ты тоже шевелись. Четыре года в клубе тишь да гладь и божья благодать...

Артист был маститый, и обличьем гордый, и голосиной – сущий архиерей. Рослый, плечистый, одет в длинный пиджак и серые брюки в полоску. Такого из денежного театра в Москве не часом вышибли. Мастер от скуки на все руки. И кует и вышивает. Судя по афишке, что на-карябала завклубша, он импровизировал плач Ярославны. Как он пел, собака! Как по-жеребяччи ржал, вражий сын! Он демонстрировал зрителям сокровища своих знаний. У него даже кишки наяривали половецкую пляску. К радости малолетних зрителей, из седой гривы выползала ученая мышь, чихала и пряталась.

Сцена колхозного ДК раньше была великовата даже для большого коллектива, а для него оказалась тесна и убога. И только где он чего нахватал, сервируя ее! Свистят каленые стрелы, каркают голодные вороны, в одном углу воины рубятся, в другом рать побитая лежит, в третьем подлые людишки кошельки трясут. А сам порхает: якобы кукушка (Ярославна ни свет ни заря) летит на берег Каялы – реки; вот бежит конь, а артист рядом галопом; ползет раненый киевский князь Игорь, а половчанин Кончак Отракович высматривает его через заросли ковыля; Игорь гоголем в воду, выпрыгнул, серым волком бежит, по лугу Донца

соколом. Торопится Овлур, спаситель князя, арканом сшибает студеную росу, сороки стрекочут – осторожнее, князь! Артист держал вожжи от зала крепко, народ то засыпал, убаюканный смутным сном тестя Игоря Осмомысла Ярослава, то чуть не вскакивал – раньше рубились, так рубились, не на колхозном собрании семечки лузгали. Зрители, в основном молодежь сталинского призыва, внимают со страхом; припоминает эта молодежь, глядючи на артиста, старые, железные порядки на Руси... Захныкал один малец – раньше молодежи такие зрелища были противопоказаны, раньше впечатлительных на печке без портков до призыва в армию воспитывали. Мальца поддержал другой малолетний зритель. Артист вошел в раж, всхлипывая принял за чистую монету и завопил громовым раскатом бога Велеса. В зале взревели.

– Уберите детей!! Чей ребенок? Чей, я спрашиваю?!

– Что ты, господи... «Чей, чей», наш парнёк. Вовчик, прижмись к бабушке. Ишь, как дрожит, так и заикой стать недолго. – Это Марья Коновна, в прошлом знатная доярка. – Прости, милок, старуху малограмотную, а ты потише. Не чертей на болоте глушишь. У нас, милок, широко в полах не принято себя держать. Иной страшалец как забегает с топориком круг избы, так его сгребут и в кутузку: остынь, не шали.

– Господа!.. Товарищи-и! Дорогие мои соплеменники, как говорит президент Стакан Гарантович! Это Ярославна плачет на забрале в Путинле за нашу землю русскую, за витязей павших. Вы пошевелите瑟рыми клеточками, отнеситесь назад, в столетия, в дикое поле, как унеслась мыслями Ярославна: «О ветер, ветрило! Зачем мчишь хиновские легкие стрелы на крыльях своих на воинов моего лады?» Слышите: кони ржут за Сулой, видите – дремлет гнездо Олегово, гудит земля многострадальная под копытами коней, из-под Боричева взвоза...

– Гришка скорее всего опять пьяный на тракторе громыхает, вот и гудит, – Марья Коновна оглядывается в зал. – Бабы, третьего дня от его гудения у нас глина пошла из-под печных опор.

– Лю-юди! Товарищи дорогие... – артиста переполняет горечь. Он ищет глазами завклубшу и находит ее, спрятавшуюся за складки сдвинутых штор. Та знаками спрашивает: задергивать?..

– Милок, – Марья Коновна поднялась с места, внучка к себе прижала, гладит ему головку. – И как это ты про дикое поле точно сказанул! Святая правда: одичали наши поля. Рядом с деревней бурьян черту до уха. А почему? Потому что главари наши на колхоз... положили, денежно и нощно лес воруют, успевают разбогатеть да робят выучить своих. Такие, как Гришка, – отовсюду прошенные, утром солярку в бак залили,

в обед уже пьяные. Вот о чем плакать надо. Прости меня, глупую, спой лучше «Вот кто-то с горочки спустился».

— Я не могу... Я не могу, понимаете?!

— Не кричи, не можешь, так и не можешь. Видим, по плачам дока. Мы ведь, милок, доверяем как слову печатному, так и спектаклю всяко-му. Артист обязан своей душой и нашими душами сойтись, душа артиста обязана заставлять зрителей думать, переживать, а как переживания нет — полтора слова с прицепом, — говорит Марья Коновна, оглядываясь в зал. — Ты не думай, что Москва это Россия, Москва нам давно не матка, она сама по себе, мы — сами по себе. Дойди до скотного двора, посмотри для примера: у баб фонарей и тех нет, механик редкий день вверх телескопом в навозе не плавает, кормины — комариный охапок, а предушко с совещания да на заседание, с заседания да на совещание, еще мужикам охочим и девок гуляющих навезет... Тут, милок обезьянничать стыдно.

Проходит час. Артист пьет честно заработанную водку прямо из горла, занюхивает огурцом. Пьёт стоя. В затхлом кабинетике завклубши пахнет мышиным побоищем. На стене висит большая икона с лицом божьей матери. Ругается артист, бранится, вспоминает Бояна, любимца Олегова кагана: «Тяжко ведь голове без плеч, горе и телу без головы».

— Да будет вам. Концерт хороший, главное — состоялся, — успокаивает артиста завклубша. В руках у нее замок, ключ вставила в него и ворочает, разминает механизм, намекая артисту, что время позднее, пора по домам. Дом у артиста остался далеко, ему некуда было спешить, и некого было любить. Последний выход — завоевать симпатию к незнакомой женщине, артист начал со слезных всхлипываний и стонов, чтоб во втором акте рассказать о своей жестокой судьбе:

— О, Русь! О, Русь! Кто засыпал тебя костями?!

Вопрос был обращен напрямую к завклубше, ибо наше Отечество олицетворяет женщина — мать. Но лицо женщины — матери не залилось трепетной бурей оваций, натянутая улыбка проползла по лицу и, как мотылек встрепенувшись на свет, сгорела в пухлых щеках.

— Минутку: причём тут вся Русь? Вроде одно поле на картине Васнецова костями было засыпано, — поправляет завклубша.

— А поле чьё? Вот именно: наше! По полю бредут старухи из вашего колхоза, впереди эта говорливая старуха, они ищут сынов... Милая!...

И тут артист «дал петуха»: икнул так, что долька огурца вылетела у него изо рта и шлепнулась на пол.

Вежливость приятна и обольстительна в рамках приличия, в опреде-

ленных границах она доставляет окружающим веселье, радость и веру, но завклубша была замужняя, в годах, милая только в тот день, когда муж приносит зарплату, потому ринувшегося к ней артиста с огурцом в руке, поставила на место:

— Грабли-то не распускай, это уже лишнее.

— Неужели я родился в хлеву? Коллега, неужели в яслях? Где был Бог с его великодушной щедростью? Я и убогая провинциальная сцена!

Тут завклубша как отвердела от напряжения. Она со стоном дернулась вперёд и уперлась вытянутыми руками в грудь артиста. С каким-то испугом оттолкнулась, шумно выдохнула:

— Господи! Матерь божья! Один Христос родился в яслях... — Завклубша была простой женщиной, она не обладала возвышенным стилем речи, потому дальше осторожно спросила: — У вас всё ладно с головой?

— Коллега, коллега!....

Презрение и негодование исказили лицо женщины.

— Давай-ко на свежий воздух, коллега.

— Коллега, коллега, Вы не так поняли!

— Всё я поняла. Лечиться вам надо.

Преступление и наказание

(Подражание «Новым русским бабкам»).

Действующие лица: Парменидовна — плотная бабка

Феклуша — худощавая бабка.

1

Лето

Яркий полдень.

Парменидовна и Феклуша сидят на лавочке, одежда деревенская, в руках Парменидовны книга, балалайка лежит у ног.

Феклуша мнет в руках фартук. Вытягивает шею, говорит тоскливо:

— Горе горькое, Парменидовна: племенной — то петушок пропал. Столько хлопот с ним приняла и на тебе... Да-аа, не нами сказано: пришла беда — отворяй ворота. Погадала бы на картах, у тя ж дедко попом был.

Парменидовна читает книгу. – Ну и щё... Бог дал, Бог взял.

Феклуша. – Бог-то Богом... Сколь нынче дармоедов непутевых шляется, как да на закуску? Или лиса уперла? Рецепт какой изучашь?.. Нынче в моде хрен тёртый морить. Или желчь медвежью со спичечную головку перед сном слизнуть. Бают, хрен да желчь всему бытию начало. Или што из тибетской медицины?

Парменидовна. – Привяжешься ни к чему-то... Преступление и наказание читаю. Достоевский. По моим соображениям – второй человек после Иоанна Богослова.

Феклуша: – Да ну-у? После самого Иоанна?.. Иоанн-то книгу сочинил Ап... Ап... ещё ты говорила: «Ей, гряду скоро!» Неуж - то...

Парменидовна: - Апокалипсис. Чужое – то на меня не вешай, это он говорит, не я говорю. Ты чего который день на деревню не кажешься, затужила я, как да коней откинешь... И синюшная ты, Феклуша, стала, бают на диету села? Бают, обрат колхозный пьёшь?

Феклуша. – А-аа... (тяжело вздыхает) Умирать мне надо... Попошусь напоследок и... Пустоцветом прожила, пустоцветом. Чувствую себя похороненной заживо... «Отче наш, иже еси на небесах! Да святится имя твоё; да придет царствие твое; да будет воля твоя, яко на небеси и на земле.» Полная научная ненужность. Оно бок о бок ходит, преступление и наказание. От тюрьмы да от сумы не зарекайся. Это как война и мир.

Парменидовна добавляет. – Или Руслан с Людмилой.

Феклуша. – Или рябина с дубом. Да – аа, одиночество. Сны одолевают, мысли косяком идут, легкие такие, обрываются на самых интересных местах. То я босая, голодная, в лаптях коров искать бегу, то о Троице парни на качелях выкачивают под самые облака, то отец родной крапивой порет, и вдруг я как бы Мать - героиня и меня, Парменидовна, прямиком в президиум усадили. Вроде и лестно в президиуме сидеть, на народ свысока плевать, а пробужусь- страшно: ведь я беспартийная! И детишек Бог не дал... А если под расстрел меня подвели?... Меланхолия кругом. И поревлю, бывает, и в окошко погляжу. Наваждение сущее, туман сиреневый уносит меня. Ты бы спела чего, Парменидовна, а? Помнишь, пионеры на целину ехали... (запевает) «Сиреневый туман над нами проплывает, над городом горит полночная звезда...» Суровое детство и военная юность. Прошлое, одним словом. Ворошу в сострадании былое и думы. Помнишь, в школе «Зимовье на Студеной» изучали? Писателей Мамина и Сибиряка?... Там тоже, волк последнюю радость у старичка унёс. Истинно про меня. Суeta сует, как говорили

древние люди. Как думашь, может, кто на закуску тяпнули?

Парменидовна сует книгу в карман фартука, берёт балалайку, щиплет струны. – И широко же мысль твоя ходит, подруга верная, истинно жнейка. Как у Чапая. Во время поучить – агитатор и пропагандист райкома партии. Смотри ты, ведь вызубрила «Отче наш», а то: «Голова – решето».

Феклуша. – Всё лето учу.

Парменидовна. – Так, глаголишь, желчь медвежья всему начало? Интересно... Был Кашировский, дурил народ, как в Думу пролез и завязал. Из прошлого, что ль, *Феклуша*, спеть?(прочищает горло) Тогда Герасим и Муму ешщё в союзе жили. Из старины колокольной. (Зажмурилась и...) «Что затуманилась зоренька ясная, пала на землю росой. Что пригорюнилась девица красная, очи блеснули слезой...»

Феклуша сползает со скамейки, хватается за голову: – Господи – ии... Всё тебя на кровь тянет, на страдания, на разбойников да душегубов. Ты в прошедшем времени кто была?

Парменидовна. – С печи брякнулась? Это давно ли?

Феклуша. – Лет семьсот назад для примеру?

Парменидовна. – Как же мне знать в толще лет, спроси чего полегше. На себя – то звезду какую прикладывала или с погляду? Сама – то кто? Скотница, чай, бродила по лесу, коров искала?

Феклуша. – Это я-то? (Феклуша вскакивает, бегает). Сойди с шального-то места, скотница! Шишок под носок, скотница! А не хошь даму придворную? С королем заморским хихоньки да хахоньки?

Парменидовна. – Ну - у! Уважаю тебя, подруга, через уважение и совет даю: воздержись широко заявлять такое. Преж бы тебя за такое откровение за ригой стукнули! А мне - знала да не донесла органам, года три, – мне скидку бы дали за мой самоотверженный труд. Помнишь, нарвут бабы походя карман колосков – пятерик давали. Мой сосед Федя Попов о тридцать седьмом частушку спел про бороду у Маркса и сколь ему за ту бороду начислили? А тут дама придворная... Не графиня хоть?

Феклуша. – Не пугай, пуганые! И попрошу не обижать! Скотница... И ты лишку не перетрудилась, самоотверженная она. Ладно, пой, черт с тобой, язва! Тему возьми такую воздушную, легкую, чтоб душу ласкало, чтоб маслило. У тебя все песни на один салтык, мечты мои изморосью пеленать, стужей окутывать. Кони, кабак, тулуп... разбойники с секирами... зябко.

Парменидовна поёт. – «Есть для тебя у них кофточка шитая, шубка

на рысьем меху - у. Будешь ходить ты вся златом осыпана, спать на лебяжьем пуху...» А я должно быть в прошлом в атаманах ходила. Должно быть с самим Ермаком Сибирь покоряла, а как татар рубила... (закатывает рукава).

Феклуша кладет свои руки на балалайку. – Нежнее, Парменидовна, доходчивее... Вот хорошо на эту тему Хиль поёт, Эдик. Помнишь, нежно так, просящие, нутро на дыбы встаёт, заржала бы в восторге, а благость перегнетает, не даёт ржать. Душа-то вспыхнет и умироворится вся. Дыхание спирает от хорошей песни, по лицу слезы ручьём... «На муромской дорожке, стояли три сосны, прощался со мной ми-илай до будущей весны...» Кавалер как бы надежду последнюю у девушки не гасит. Мол, жди, я твой на веки.

Парменидовна. – Да жеребец твой Эдик! Не башше Фильки Киркорова. Где истинная напевность, лирика, романизм? Ну, хрен с тобой, Эдика так и Эдика! (во всю силу). – Эх, эта свадьба, свадьба, пела и плясала...

Феклуша хватается руками за голову, бегает перед Парменидовной, сотрясает воздух. – Уймись, бесстыжая! Не сыпь мне соль на рану, не сыпь! И не Эдик то, Муслимушко Магомаев полишку на свадьбе дер-балызнул! Не укоряй, не выходила я замуж, за то наказана и крест несущ.

Парменидовна. – Что – то больно нервная через былое и думы стала. Не ты третьей ночи на росстанях причитала, тонкая рябина?... Не ты, значит. Звук такой, как бы голодный мерин удила грызёт... Вроде с Митрошкой блудила, весь сельсовет знат...

Феклуша. – С Митрофаном Андреевичем! Митрошкой... Да штоб у тя чирей во рту вскочил! Всех бы осмеляла да охаяла, стахановка! Митрошенька... Голубь ты мой! От одного имени в жар кидает. Блудила! Раньше гуляли, это теперь блудят. Дозволяла кавалеру только меня за руку взять, а чтоб лапать или как нынче принято сразу ближе к телу – ни-ни. В строгости себя блюла, честью надо смолоду дорожить. Митрофан Андреевич счетовод был первой статьи! Ему не надо эти компьютеры, он в уме тысячи умножит, миллионы сложит, в сейф переведёт. Какая память была! Нормы выработки назубок! Сколько в амбара, сколько к выдаче – пожалуйста. Митрофана Андреевича не подловишь на мякине, уполномоченным всяким укорот давал. За то и любила. И потрафляла. Испечёт, бывало, мамушка пирожок, сама не съем, Митрофану Андреевичу отдам.

Парменидовна. – Молодость, молодость, цветы запоздалые... « За рекою у колодца, где студеная вода, вслед за жнейкою вязала, снопы

девка молода-а...» (Феклуша подпевает и утирает рукавом слезы)

Феклуша. – И хорошо же ты играешь, Парменидовна! А про это... это: «В городском саду играет духовой оркестр...» Как раньше любили, Парменидовна! Как любили! Вот оно, наше... прошлое-то. Как наяву видение: мы с Митрофаном Андреевичем из-за скотного двора выходим, босиком, – того году бык кличкой «Буржуй» бригадира Ваню - пролетарья рогами к земле пришипилил. Помнишь?.. Заслуженное наказание Ваня понёс, он много-о хозяйственных мужиков под монастырь подвёл. Сколько цвету, букашек, жуков всяких, земля благоухает, небушко винимает нам, счастливым... Ты хоть жнейку-то помнишь?

Парменидовна. – А говоришь, дамой была в прошедшем! Чё тя по навозу бегать потянуло?.. То-то, устыдись и не сочиняй ересь. Спрашивашь, помню ли я? Я да не помню! Да я стихотворение Лермонтова «Скажи - ко, дядя, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром...» и теперь назубок. Провалов памяти не наблюдаю. Храню книжку колхозницы. В Страсбургский суд отошлю, может тот суд изъян в моем здоровье отыщет, пенсию прибавит. И жнейку, и веялку, и много-о чего помню. Мне Митрошка... Митрофан Андреевич трудодень знаешь за что начислял? Я и теперь еще в телесах, а раньше помнишь? (Загибает подол, показывает крепкие ноги) Грузная была, кровь с молоком, в расцвете была, да кой хрен мне желчь медвежья! О Покрове - во! раздухарились парни фатьяновские, я как сгребла... да как...

Феклуша в испуге: - Ну-ну, не озоруй, не в горящую избу забежала, не распускай ручищи!

Парменидовна. - Меня на веялку садили для баланса. Чтоб веялка не тряслась. А то по гумну веялка ходуном ходит. Я сижу на верхотуре да песни с мату на мат закатываю, а бабы крутят и крутят колеса, крутят и крутят. Пылища-а. За послушание начислял. И получила я шахтерскую болезнь через то послушание.

Феклуша. – Какую? Шахтерскую? Ты што горбатого лепишь, у нас глины пласт пять верст в глубину!

Парменидовна. – Шахтерскую! Трясучка по – народному. Ладно к уму пришлось, вот про эту болезнь трясучую и напишу куда следует. Сойдешь с веялки – ноги отнялись. Со Стаханова пошла, от молотка отбойного.(запевает) «Ночь стоит у взорванного моста, конница запуталась во мгле. Парень презирающий удобства, умирает на сырой земле...

Феклуша заламывает руки, голос пронзительный. – Господи – и, опять в атаку, опять шашки наголо!

Парменидовна. – Леший знат, как на тебя и уноровить. Может «Ночь была с ливнями и трава в росе. Про меня «счастливая» говорили все».

Феклуша. – Правильно, правильно, от такого лирического по всей груди моей девичьей волны перекатываются, легкость... Полное отторжение собственного тела от трудностей мирских. От хорошей песни душа кустится, по жилам всполохи ходят. Как раньше пели, Парменидовна, как пели! Вот режь меня, а нынешних певунов я считаю юродивыми. Это обезьяны, истинно погибающие за металл. А Ваня Бровкин как пел: «Не для тебя ли в садах наших вишни, рано так начали зреть, рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя посмотреть».

Феклуша. – уже луще.

Парменидовна.. – Понесло..(ворчит) И упокой, и здравие. А не скажешь, подружка, чего Митрошку...Андреевича-то чего забраковали, в армию не брали, недостаток какой ты не обнаружила?

Феклуша. – Да ты что!! (испуганная) Детина был – на скамейку встать да кудри расчесать. Таких в пехоту преж не брали, только в гвардейский флот. Какой же изъян у Митрошеньки? С него картины рисовать надо, статуи лепить. Мой Митроша бронзовый в Берлине городе стоит с дочкой на руках! Стыдно мне за нынешнюю молодежь, крутые да продвинутые через пиво рекрутые. Школу кончат, только и научаться материться, курить, и у матери на пиво клянчить. Помнишь, как Митрофан Андреевич двухпудовки через плетень кидал?

Парменидовна щиплет струны, выводит «яблочко». Запевает. – Эх, Сара! Любила комиссара, а комиссарова жена ее отполысала! Комиссар, комиссар, почто женишься, придет батьку Махно, куда денешься!..

Феклуша пляшет «яблочко» и делает на полу «шпагат». Стонет, заламывает руки. Парменидовна помогает встать на ноги.

Парменидовна. – Диеты, диеты...у тя ж полное истощение. Дистрофия начинается. Ты бы поменьше извилинами шевелила, больше на картошку налегала, на огурцы... Кабы Руслан не уминал по гусю на обед, победил он бородача Черномора? Тот витязя под небеса упёр, ан нет, вес к земле тянет.

Феклуша. – Охота, подружка, выглядеть как модель нонешняя. У моделей тело щупать не надо, насквозь видны хорошие места. Потому и обрат пью, и шишкы ольховых завариваю. Голодаю три недели. Американский доктор Хайдер больше года постился, шлаки из организма выводил. Может, выдержу.

Парменидовна. – Профессора, что у Клавдии все лета изживал, помнишь? Лысый, с большой трубой стеклянной ходил по деревне, еще

шампиньонов насобирал на навозной куче и жарил?.. Еще говорил, что по алмазам ходим, мол, тьма алмазов в земле вологодской... Сегодня питался по методу буравчика, завтра по методу дедукции, послезавтра по методу людоеда эфиопского...вскрытие показало: извилины в голове выпрямились. Дурят наших колхозников эти Хайдеры. Он день перед Белым домом истukanом сидит, на ночь домой хвост потянул. По-омню, ты еще письма жалостливые писала ему, мол, приезжай, одино-кая я, картошки много-о, сердце тоскует и тянется к тебе, сиротинка доктор.

Феклуша. – Не попрекай, вроде минута такая торжественная снисошла, душа успокоение находит... Спой из прошлого, из юности... (плачут) Хочу с белым светом проститься, с Митрошей... Митрофаном Андреевичем. Уважала его, а он... он травму нанёс незаживающую, огорчение хуже СПИДа.

Парменидовна. – Здресте, из крайности да в полярность. Как в сказке у тебя: из воды родниковой да в молоко кипящее. Нервы ни к черту у тя стали. Совет дам: ты в нашу больницу сходи да спроси доктора Зимогора. И псих, и аналитик, и по руке гадает. Сберег Митрошка тебя для честного подражания молодым нашего сельсовету, не прижал за башней, чего и кислишься... или на стороне озоровал?

Феклуша. – В девках через него засиделась. Завя-я-яла-аа... У тебя у внуки девка родилась, а я? Пустоцвее-етт... И всё Митрофан Андреевич, вето наложил, закон умножения рода людского нарушил через мою святость. Годы уж, куда я теперь пригодна, разве кто замуж возьмёт?

Парменидовна. – Такой вопрос с кондака не решишь... Объявление дать? Можно в Страсбург... Все обиженные обращаются. От нас там сидит депутат Рогозин. Буду писать письмо и твою просьбу изложу. В Австралию девок набирают верблюдов доить. В эмиратах арабских белокурые в большой цене... перекрасить долго ли? Можно на худой конец кормилицей наняться. В Италию не советую, там у наших девок паспорта отбирают и в публичный дом сразу с корабля кинут маврам черным! Сразу возьми имя другое, Дездемоны на слуху. Там невесту на весах взвешивают, столько потянет, столько за неё приданого коровами или овцами и выдадут. Пооткормить бы тебя, тощак, нет товарного виду. Хрен – то аппетит нагуливает, ешь лучше. И голос простуженный. Груди отвисли, бока запали... тут доска доской. У тя груди еще не при сохли? Дай – ко пощупаю...

Феклуша отскакивает. – Шальная! Вот ешщё змея ты какая!

Парменидовна. – Хоть бы граммов на двести в день привесу

выгнать, какого тамошнего олигарха или раджу и опутаешь.

Феклуша. – Олигархи это насильники и бандиты, веры у меня им нет. Родину растащили.

Парменидовна разворачивает книгу, зевает. - Истинно мать Тереза. Это у них, в Америке, жульё, у нас - уважаемое сословие. Надежда и возрождение родины. Время, Феклуша, шатовитое, обогащение идёт. Вот вопрос на засыпку: спрашивала я тебя, спрашивала, а ты утаилась: за кого прошлый раз голос отдала. Так открайся, за кого?

Феклуша покорно отвечает: - За того...драчуна – то.

Парменидовна: - А пошто, чем он взял тебя?

Феклуша: - Многоженство обещал.

Парменидовна: - Ну – у?

Феклуша: - Вот, думаю, и сгожусь...младшей женой.

Парменидовна: - Зря, ой, зря! Да пойди ты младшей женой к нашему мужику, да он тебя пропьёт на другой день или в карты проиграет! Многоженцы, Феклуша, веры не нашей, языков ты ихних не знаешь, живи ты, ради Христа, тихо да спокойно. И кончай свой пост, это я тебе как врач говорю.

Феклуша озирается. – Давно ли врачихой – то заделалась? Ворожить, што ли, учишься? А кто передаёт?... Врёшь ты всё, нет в нашей стороне колдунов. Так, говоришь, обогащение грянет, а откуля грянет?

Парменидовна. – А кто просил на петушка погадать? Хе-хе...Это я про Бухарина, помнишь, обогащаться звал, его товарищ Сталин и кокнул за обогащение.

Феклуша с облегчением. – Царство ему небесное. Раз кокнули – нашу деревню не тронут. Каждый раз так: начнёшь за здравие, а кончишь за упокой. Спой, Парменидовна. Матушка говорила: «Все, девки, замуж успеете, да на выход не обессудьте». Ты как смотришь на Валерика Леонтьева? «Выйду на улицу гляну на село, девки гуляют и мне весело-о». На заседание в госдуму должно быть сейчас идёт, горло прочищает. Или вот эта...большеротая... как её, просит утащить её к обезьянкам...

Парменидовна. – Машка, Гришки Распутина девка. Один расстрельный ученый предрёк возврат в пещерный век через постижение науки. Телевизор включишь, - это ведь как оглоблей в мозгу ковыряться, стрельба да мордобой, кариес, прокладки под любой размер и покрой, перхоть, моющее средство. Я вот без трусов до сих пор хожу, пусть организм с обеих ног кислородом обдувает. В нашем роду бабка сто четыре года жила, но чтоб она к обедне пошла да трусы аль штаны ка-

кие одела – не смеши деревню! У нонешних баб почему тяги нет робят рожать?.. А, закавыка? А я знаю и важным, важным! чинам скажу без всяких тезисов: надо отказаться от электричества. Ты прикинь, сколько бабы при лучине рожали и сколько сейчас?... Вот оно, и преступление и наказание. Али я не права? И Чубайсу легче.

Феклуша. – Не бай никому больше, за такие речи тебя надо в бане шайкой убить. Только бы хвастала, я да я да дедко мой.

Парменидовна. – Сам не похвалишься – люди не заметят. Не те времена пошли. Ты бы за меня голос свой отдала в Московскую думу?

Феклуша. – Бог с тобой! Да по кой ты леший туда?

Парменидовна. – По кой, по кой... вот и читаю, по кой. Охота бы за горизонт глянуть.

Феклуша. – Куда – а? За какой такой горизонт? За стену тюремную? Да ты со своего – то насеста не брякнись, за горизонт бы ей... дедка своего забыла, потому язва стала. Исповедаться тебе надо. Или и ты умирать собираешься? (с испугом).

Парменидовна. – Не дождешься! Пищу ем всякую, от крапивы до свинины. Перхоть не берёт, нутро - долото переварит. Гля, зубы как береза ядреная... Закалка сталинская. Что говорить, подружка верная, на ржаном хлебе поднимались, в своём соку, хлеб-то наш был, русский. Теперь один сор из-за границы везут, согласна со мной? И чего в такую жару весь сундук на себя одела? ... Еще бы костюм водолазный натащила. Спаришь тело. Боже ты мой, застеснялась. Снимай, а то я сейчас...

Феклуша отбивается Парменидовны.

Парменидовна. - Надо ходить в общую баню, стеснение исчезнет. А этой твой Валерчик, он не нудист?.. Не поняла... Не голым ходит на заседания?

Феклуша тоскливо. – Язва, истинно язва моровая... И как таких земля носит? Беззащитных нынче стреляют часто у своих подъездов. Он же без охраны ходит, где на охрану денег наберешься... Вроде на заседания не пущают, не олигарх... одежонка, штанишки... подстричь бы, выглядит диковато... (Оживает. Вскакивает) А слышь, правда, будто он в штанишки лапу кроличью для нашего любопытного бабьего глазу приложивает?

Парменидовна. – Так вот где скрывалась погибель моя: легкость, сны, туман сиреневый, а глаза по штанишкам шарят? Находилась на балы, ишь, стрептиз ей подавай. Спасибо краснофлотцу Митрофану Андреевичу, поберег, в девках оставил. Мне до лампочки, кто и в каких

штанишках выпендривается, а ты глаз востришь, стало быть вызрела, пора замуж. Пора! Эх, и спляшу на твоей свадьбе, невеста завидущая! (Пляшет)

Феклуша тоже пробует плясать, но валится и виновато говорит:

- Ослабла.

Парменидовна. – Через дурость свою ослабла. Щец бы жирных наварила, то пощусь... Жениха надыбала – в твоем вкусе. Обхождения деликатного, некурящий, пенсия – не наше колхозное плетиво! Кстати, во флоте служил.

Феклуша. – Что ты говоришь?!... Парменидовна, ради истинного Христа: он не плешивый? А ростиком как, не метр с шапкой?

Парменидовна. – Содом и гоморра! Сплошь озоновые дыры, радиация особенно в мировом океане любую кудрю выест. Уволь, не в Митрошкину стать. Но череп хороший, Царьград, не череп! Из подводников. Голос хороший, прямо таки окта-ава. Пошли, придворная дама, до магазину. Кошачий корм навезли и туалетную бумагу. «Зверобою» купим бутылочку, а анафему твою внутрянную священной дедковой рукой снимаю! А чего умирать, когда жить можно?! «У церкви карета стояла, в ней пышная свадьба была...»

Радостная Феклуша подхватывает.

Феклуша и Парменидовна в обнимку уходят.

2

Зима

Русская изба времён царя Николая. Большая печь. Комод. На табуретках стоит гроб. На стене тикают часы – котики. Гроб как гроб, стружки на полу. В гробу, раскачиваясь, сидит худощавая бабка Феклуша, на ногах у неё ватное одеяло, на одеяле растянулась кошка. Бабка гладит кошку и тоскливо поёт что – то вроде псалма. В избу заходит Парменидовна, крестится на икону в углу.

Парменидовна. – Здравствуй, Феклуша. Слух прополз, будто умирать загадала. Дай, думаю, зайду, прошусь. Может, чем грешна, так прощения спросить... Феклуша, оглохла что ль? (Садится на стул рядом.)

Феклуша всхлипывает – Когда – то и умирать надо... С миром прощаюсь.

Парменидовна оглядывает избу, хмыкает. – «Прощание славянки» что ли? Оркестра не вижу, какое прощание без музыки... А мир-то куды подевался? И исповедоваться не будешь?.. Соседей нет, ведь поди-ко и записку поминальную не писнула? Кто без явной причины умирает, тех анатомируют нынче полностью, даже пятки разрезают. Надо причину отыскать, отчего ты померла. Кое кто из большого начальства и портфеля лишится через твою смерть. А кому чего из добра отказываешь, штоб потом на деревне ссор не возникло?... Тю, ты и в бане ешё не мылась! Седни не умирай, на неделе баню наши натопят, надо ополоснуться. Соборовать Петьку созову, он три дня как из тюрьмы вышел, большой специалист по обмываниям, сказывают.

Феклуша. – Петьку-у? Петька меня обмывать станет?... Господи, мать богородица! Чтобы мужик молодой да к моему телу девичью прикоснулся? ...

Парменидовна. – А что такое? Потрогает кое где, помнёт, ты же бесчувственная будешь, не всё ли равно.

Феклуша. – От твоих слов вся разом иззябла, каждая косточка во мне заможжила. Да-аа... обид на мир не держу, всем всё прощаю. Э – эх, товарищи мои дорогие! Я ведь по - своему, по девичьи вас любила. (Кусает губу, готовая зареветь).

Парменидовна. – Скрытная ты стала, девушка. А хошь с трех раз угадаю с кем ты прощаешься?

Феклуша. – Гадай, коль охота.

Парменидовна. – С инопланетянами. Нет?.. Твоя правда: нынче планетяне поуспокоились, худо летают. Оно и понятно: нефть на биржах дорожает. С районным князьком Миколашкой – два подбородка?... Опять нет? а чего он тебе грамотку на 80 -летие прислал?... Что ты головой бьешь, будто о сенокосе комары съели? Сама знаю, что от району до тебя грамота ровно семь месяцев правилась. Где она у тя, чего на стену не прилепишь для пущей важности?

Феклуша. – Считаю себя не достойной. Свои, говорят, не пророки в отечестве. Кабы грамотку товарищ Почкин прислал, али товарищ Чубайс, или этот... сытенький такой... вот голова – решето... Страсть люб. Он животинок всяких любит. (Кошку берет на руки). Хозяйственный такой... Уж такой башковитый ...

Парменидовна. – По христианскому вопросу, депутат или от какой партии сокол говорливый?

Феклуша. – По телевизору, бывает, покажут... Сытенький. И в тундре он был, и в песках жарких, по всему свету бродит, откуда не говорит, а

всё своей матери привет шлет. Знать большущей души чесвек.

Парменидовна. – В телевизоре все не тошице. Что ни рожа – блин со сковороды. Худые там, Феклуша, не заживаются, худых, Феклуша, выдавят будто чирей из шеи. За власть уцепились, что за сиську маткину, трактором не оторвёшь. Колос к колосу, голос к голосу. У которого депутата каша во рту, тот, Феклуша, на галерке орехи грызет. Да-аа, и давно Починок с Чубайсом у тя в товарищцах ходят, позволь полюбопытствовать? Вроде как они в господ перековались, того гляди хапнут деньжат поболе да за кордон кинутся, а у тя всё тамбовские кумовья в приятелях. Отстала ты, Феклуша, ой, отстала от жизни. Там в Кремле вертикаль строят, лишние деньги делят, леса кварталами на себя пишут, Березовского ловят... Взбрело тебе умирать, разве теперь время? Ну, сама видишь, не время. Ты живи. Слышала, как нефть-то вздорожала?.. С каждой тонны старицам отчислять на похороны станут. Я уж счет в банке открыла на внуку. Обленилась ты, ишь какая в избенке стужа... А грамоту, коль умираешь, надо в изголовье положить. Князек -то Миколашка – два подбородка со всем тебе почтеньицем.

Феклуша. – Без тебя тошно, а с тобой... не трави душеньку-у. (Плачет, кошку толкает себе за пазуху. Сморщилась, тяжелый вздох поднялся из груди). В бюджетную сферу ходила, в горизонталь, сельсовет по – старому. Так, мол, и так, не протянуть зимы, дровишки на исходе. Пиши, говорят, в этой сфере, заявление. А кому писать, спрашиваю? На другую сферу, которая поважнее. На комитет районный, на князя. У главы сельской сферы, то бишь, администрации, одно кладбище под началом. И за то скоро деньги платить обяжут. И порешила я ... пока хоть бесплатно, на халюву успею. Вот и прощаюсь с товарищами.

Парменидовна. – Да-аа, с этими вертикалями – горизонталями одна заморочка. А всё ж скажи, Феклуша, Починку какая польза от твоей смерти?

Феклуша. – Одной заботой у него меньше станет. Умру, так и пенсию платить не надо. И товарищшу Чубайсу слегчение. На месяц энергии электрической на семь рублёв с копейками намотало. А тот, сыгенький-то, манит, зовёт то туды, то сюды. Везде кроме нашего государства житуха справная. Райскую кушу обещает. Эх, годы вы мои годы-ы.

Парменидовна. – Вот экономишь энергию, скряжничашь, а Починка твоего давно – о как шуганули с должности доброхота. Как у него женка в Англии родила, ну и под зад коленкой. Не уважает российские нишущие роддомы. Сейчас Зурабов управляет вместо его.

Феклуша. – Этого беса с долотом я знаю. Мореходу Колумбу черному памятник заворотил под небеса.

Парменидовна. – Э – э, а вот и нет! Того Зурабом кличут, имя такое. А этот Зурабов, от имени.

Феклуша. – Сын получается... Как же фамилия сытенькому? Голова – решето...

Парменидовна. – Дался тебе сытенький... Если с Чукотки, так Абрамович, кого там сытее сыщешь. Он в Англии большущий дом купил. В районе была какого дня, слышала от торгашей из Белоруссии, будто он одиноких чукчей переселять намерен. Эти чукчи пуще оленей скорость держат на бегу, который чукча попроворнее на ногу, того мяч гонять заставит.

Феклуша. – Во, во, какой ж он господин тогда? О бедных хлопочет. Товарищ получается! Ты не знашь, когда у Абрамовича день рождения?

Парменидовна. – А на кой он те кляп?

Феклуша. – Открыточку отошлю, здоровья пожелаю. Еще мечтаю я, подружка дорогая, в Сахару податься. Там, слышала, в песке яйца варят, такая жарища... Не поленись, кинь мне на спину шубу, ровно под кожей клопы снуют... В Сахаре бы я отогрелась. Ожила бы.

Парменидовна. – Мечтать не вредно. А ты прикинь своим решетом, лягушка – путешественница, сколько границ на пути до Сахары, таможен всяких да постов? На дорогах грабят, бандиты с милицией на пару орудуют, Сахару ей подавай. У меня племяш на Москву доски возит продавать, так, говорит, только успевай сотенные в права класть. Гребут, Феклуша, соловьи -разбойники... А у которых рожа сытее те и больше. Ну, вспомнила?

Феклуша. – Страхи божье, тут что и помнила, из ума выкинуло. Обязательно бы надо попрощаться с тем товарищем. Он мать страсть любит. А меня, Парменидовна, любить не кому. Одна как перст на белом свете. Что разве ты... Вроде как фамилия из фильма про солдата Бровкина Ивана... соловьиная-ая.

Парменидовна. – Ну, не реви. Перечислять стану, авось на полоз встанешь. Давай... ты кого в нашей больнице знашь?

Феклуша. – Этого... который точно говорит, от чего человек умер?

Парменидовна. – Поп за свое, и черт за свое. Который там... высоко-ко-о сидит!

Феклуша. – Ангельского чину что ли?

Парменидовна. – В Думу которые протолкались!

Феклуша. – Не бывала в Думе за порогом, чего ты ко мне прилипла?

Парменидовна. – С Думы тогда и начнем. От области кто там у нас ошивается... Не генерал?.. Не врачиха?.. Не с «Северстали», из сотни самых богатых? От сохи да бороны там нет, это как пить дать. Уж не братан ли с зоны?... Точно! Она по бабьей части! Чего головой мотаешь?... Не по нашей? По мужицкой части?... Всех перебрала. Давай теперь по сынам достойным, по ястребам. Не Бориско ли Немцов?.. Хака-и-мама? Та, правда, из женщин... А если Зюганов? Гена Зюганов? Гриша Явлинский? Вовку Жириновского знаешь, он драчун такой...

Феклуша. – Господи, не голова у тя, дурдом на колесах. С плеча воздух рушишь. Этот все шутит, играет да приговаривает...

Парменидовна. – Тогда Сашка Маслюков, из КВНа. Даже в затылке затюкало от такого напряга. Какой ночи тоже председателей колхоза перебирала умом, со счету сбилась. А сколько бригадиров у нас перебывало, секретарей, уполномоченных... Фу, задала ты задачку. Дай-ко на счастье телевизор включим, авось твоему горю поможет. (Идет к маленькому старенькому телевизору). Пылища, пещерная ты славянка... поди-ко и кинескоп подсел... Смотри ты, кажет!

(Феклуша в валенках выползает из гроба, натягивает на себя шубу, садится с Пармидовной рядом. Вдруг обрадовалась, кричит.)

Феклуша. – Мм-а-тушка родная, он! Он!!! С медведем в обнимку скачет!

Парменидовна. – Ну, даешь, это же Паша Любимцев, натуралистом шабашит. Этот тебя и завлекал в даль туманную? Эх, Феклуша, Феклуша, головка наивная. Там в Сахаре голышом ходить надобно, а у тебя кости бренчат, такую худую на пляже покажи? Тамошний народ страх испытает, международный скандал, и вытурят с волчьим паспортом, ей богу вытурят. Смотри, Феклуша, у тамошних арабских людей туристы как наживка на крючок. Берут любопытного зеваку, на крюк насаживают, якобы у крокодила печень изучать, а сами кино снимают. Ох, любят крокодилы тошних баб! Зубы, говорят, на них оттачивают.

Феклуша. – Коль надо голой, я и голой покажусь! А что! Заразными болезнями не страдаю, а тошные девчата моделями подрабатывают. Знаю – ю, завидки берут, ишь, пузу выворотила... Парменидовна, ведь хоро-о-ш, а? Сытенький, аккуратненький... Господи, ну и силища! Гля, медведя мнёт... Ох, ты мой гладенький, ох, ты мой хорошенъкий... Парменидовна! Ты только глянь... Пар... Пар... Ты куды мой гарнитур

портишь, куды, бандитская твоя морда?..

(Парменидовна ногами разбивает гроб, Феклуша бегает, суетится).

Парменидовна. – А туды! В бане не мылась, в грехах не исповедалась, одежонку не раздарила! Вот сейчас возьми и откажи мне кофту! А-аа, жалко?

Феклуша сдергивает с себя кофту, потом кутается в неё. – Кабы не стужа...

Парменидовна. – Завтра в сферу пойдем вертикаль трясти насчет дров. Нет бы волость «управой» звать, как при царе – батюшке величали, геометрию им подавай! Затопляй печь! Нашла товарищей!... Починка с Абрамовичем!

Феклуша начинает толкать обломки гроба в печь. Сердито оглядывается на Парменидовну.

Феклуша. – Лешачиха. Назло не умру! Умри – ты меня голой на тот свет отпрашишь!

Парменидовна. – И отправлю. Уж не думала ли ты пред божьими ангелами в одежонке предстать?

Феклуша. – Мужчины, однако, стыдно... Тебе проще: ты стыда не признаёшь.

Парменидовна. – Вот и живи да радуйся! Помни: раньше меня умрешь – голышем на тот свет уйдешь! Пошла я. Смотри, не угори в печи-то.

Раньше жили лучше (сказка)

Воскресенье. Сидит под окном царь, миру государь. Сидит да зевает. Расправляет рукой бороду, смотрит, что на улице творится. Характер у царя покладистый, уравновешенный, державный народ тяжелыми поборами не забирает, уставом отца и деда правит. Царство как бы в стороне от других царств лежит, народ живет суровый, потаённый, такой народ новизной пугать, что медведя в берлоге тревожить. Насушились дома посадские, ставни на избах не отомкнули люди мастеровые, пребывает стар и млад в неге. Вот раздастся скорбно-медлительный колокольный звон, тогда можно и вставать. Снегу за ночь навалило много. Едет одинокий мужик на дровнях, лошадка через сугробы переваливается как на печь взирается. Царь гадает, что же за надобность такая у мужика в сей ранний час из тепла вылезать.

Истопник Иван, угрюмый, с досиза выбритой головой, затопляет печи. Иван силен и необычен, за что его царь уважает. Необычность истопника такая: ни с того, ни с сего сутулясь встанет напротив царя, исподлобья глянет и скажет: «Раньше жили лучше. Погляди-ко, что дьяки твои намудрили...» И присоветует, как надо было решить тот или иной вопрос. Водится за Иваном маленькая слабость: любит порисоваться здоровьем и умом. Пересмешник он. Только чуть царь прихворал, лекарь со снадобьем засуетился, Иван в покой заходит, наигранно хмурясь, укорит за леность и скверное отношение к царской обязанности. И, насладившись лицезрением сильного истопника, царь как бы здоровеет, гонит прочь лекаря, с наслаждением велит заложить лошадок. Ивану нравится почтительное внимание к нему царицы, нравится страх в лицах дьяков. Еще Иван любил раздолье, долгие летние сумерки. И царя уговорит покинуть дворец, побывать на природе. Бывало, пойдут с царем затемно косить, по холодку. Оба оденут твердые лапти, поедят медовой каши, распугивая сонную челядь, выходят в зовущую, бесконечную дорогу. Царь от непривычки быстро уставал, лежал на спине и смотрел в ало-зеленом небе жаворонка, а Иван косил жадно, широко. Царь становился разговорчивее в такие минуты, вдыхал носом томительно – свежий запах увядющей травы, как мальчишка бодался с козами. Уговаривает царя Иван спать летом на голой земле под сиянием звезд – не соглашается царь. «Уж совсем меня омужичил, будто я пастух косоглазый, эдак народ признавать перестанет».

Было у царя пятеро сынов. Ничего, бог умом никого не обнес, здоровьем тоже. Истопник Иван растолкал их. Ну, говорит, выметайтесь. До гола раздевайтесь и по свежему снегу поползайте. Недовольны царские дети, да делать нечего, раздеваются до гола и на улицу. Знают они, что батюшка Ивану повторствует, к советам его прислушивается.

Был у царя заклятый враг принц Пузырь из ближнего королевства. Много раз грамотки слал, древо родословное тряс, на полцарства глаз положил, Страсбургским судом страшал. По слухам принц Пузырь был незаконнорожденный, якобы отец царя поприжал в беседке распутную матерь Пузыря, та и опрокинулась. Царь на все притязания «брата» отвечал молчанием. А ближе к весне от принца Пузыря послы сладкоголосые заявились, в дружбе распинались, ягодами заморскими угощали. Царь ягод поел и занедюжил. Напрасно истопник Иван в покоях в одной рубахе ходил, как бы своё здоровье царю отдавал, трех недель не прошло царь помер. Тут и осмелел принц Пузырь, послы без подарков вкатились, дерзят и шапок не снимают: подавай принцу полцарства, или

немедля нечисть болотная водой темной царство зальёт. Царица вдовая в страхе, царевичи переглядываются. Собрался семейный совет, зовут истопника Ивана. Тот насупился, говорит: «Раньше лучше жили... Дело ваше царское, но своим худым умишком смею, идти да побить наглеца. Не побьем – нас побьют».

«Глупый! Где рати? – кричит царица. – У Пузыря на службе нечисть болотная, да разве с нечистью нам совладать?»

«Раз я глупый, то чего спрашиваете», – обидел истопник. Повернулся и пошел независимый. Разъярилась царица, велела дух своеvolья на конюшне батогами выбить. Сыновья глаза опустили к долу, помалкивают, не приходилось им воле родительской перечить. Что греха таить, довольны были матушкиным решением, истопник Иван постоянно досяжал своим присутствием и насмешками. Первый раз в жизни истопник сам под батоги лёг. Отписала царица принцу Пузырю, мол, дай сроку три года, всем царством под твою десницу пойдём. Народ наш дик и дремуч, надо подготовить его подданство твое принять. Надеялась царица на «авось», больше не на что было надеяться.

Небо черно и чисто. Истопник Иван с фонарем обходит царский дворец. Последний снег сверкает и колет глаза, – днём зима спорила с весной. Тень от человека коротка и плотна. Думы истопника одни: охота царство от принца Пузыря защитить. Фонарь поднял, вот, думает, широка река, глубока вода, а хорошему пловцу разве река препона?

Идет он к царским детям, отеческой беседой думает расположить к себе: Пузырь должно быть во всю к войне готовится, мы не шьем, не порем, мамкину титьку сосём. «Раньше старики говорили: хочешь мира – готовься к войне. Вся надежда на вас, ребята. Идите в люди, сами обучайтесь военному ремеслу и народ обучайте.» Призадумались сыновья царские, потом все пятеро к матери пошли. Царица чуть было опять истопника на конюшню не отправила, на этот раз сыновья заступились: зло истопник говорит, перебарщивает чуточку, да не подхалимничает как батюшкины думные дьяки. Те возки в дорогу снаряжают, удирают из города навстречу принцу Пузырю. И пошли сыновья в народ, сами военному делу учатся и рати собирают. «Худо ли при батюшке жили?» – спрашивают сыновья мужиков. Мужики мнутся, шапки в руках комкают: беспокойство с этой войной. «Всяко жили» – отвечают, за топоры не спешат браться, выжидают.

Нищие валом повалили – принц Пузырь начал окраины палить, стихийно стали подниматься обездоленные на бой с врагами.

Жили впроголодь, беспокойно, отчаянно. Тосковали люди по род-

ным сожженым деревням, болели от недоедания и умирали. Истопник Иван хуже врага лютого, замучил людей авралами, земляной работой. Сыновья единогласно назначили его главным воеводой, и самим не сладко, да одно знают: Иван не ради себя старается, ради державы, поддерживают его и словом и делом. Не мог истопник Иван себя перебороть, даже в такую минуту был насмешлив и ядовит, но говорили об Иване с восхищением, даже с гордостью: «Такому дай волю!...Лют же, собака». Перебежчики масла в огонь подлили, разнесли они вести такие: принц Пузырь в завоёванной стране законы введёт платить за дрова и за землю, за воздух и за место на кладбище. Я, хвастался, воду лешакам на откуп отдам. Забудут люди позорное слово «свобода». Тут мужики за топоры взялись. Слыхано ли дело, место на кладбище выкупать! Сыновья царские в первых рядах. Войско принца Пузыря одолели бы, да нечисть болотную одолеть трудно. Нечисть ни сабля, ни стрела не берут. Заговор особый против лешаков нужен. Вспомнил истопник Иван, что сказывала в детстве мать сказку про старушку - веденушку; та старушка днем спит, просыпается ночью. Она слышит шорох листьев за много верст, слышит зудение в осином гнезде еще дальше, каждую ночь её черный кот ходить по крыше сарая и говорит новости. Никого к себе старушка - веденушка не пускает, пьет росу с серого камня. Пошел Иван старушку – веденушку искать.

С месяц ходил, похудел, ребра выпирают, спина сгорбилась. Вышел на берег озера, глядит, к кромке воды избушка приткнулась. Дождался темноты. Небо потемнело, но не гасло совсем, звезды простили. Говорит тихонько: «Старушка- веденушка, помоги горю нашему. Кто я да что хочу про то тебе ведомо.»

Родился звук, протяжный и булькающий, похожий на звон дождя и на шелест листьев, перед Иваном вырос черный кот. Уши кота распустились, тело обмякло, погладил его Иван, кот и заговорил человеческим голосом: «Взойдет солнышко да роса не опадет, пять девиц не порочных волей вольною станут над топью посреди болота, нечисть к выкупу притронется и навек пропадёт». Сказал то кот и сам пропал. Благодарил Иван старушку-веденушку, здоровья ей молил.

Вернулся к войску, говорит царским детям про свою выходку. Кличбросили, чтобы собирались на смотрины самые красивые девушки. Чтоб лицом пригожи были, умом достойны, и плясать могли, и рукодельничать, и кухарить знатно. С лица не воду пить – верная поговорка, потому девушка с измятым глупым лицом и большими подзглазницами себя хуже других не признавала, в линию становилась. Отобрали пять

самых достойных девиц, всю правду им сказали. Рухнула одна на землю, как насекомый лист подточенный, другая плачом зашлась, двое полумертвыми стояли, лишь пятая с покойной душой пошла на треск коростеля, - нечисть все видела и нетерпеливые сигналы подавала. Силой повели за ней других девушек. Солнце уже взошло да роса не опала. Привели к топи зыбучей, на плот усадили, оттолкнули шестами плот от берега. Истопник Иван сопровождать их вызвался. Помнил он, что черный кот старушки – веденушки сказал: «... нечисть к выкупу притрется и навек пропадёт». Выползает из топи нечисть безобразная, у всех лешаков на девушек права равные, всем охота красу земную грязными лапищами потрогать – веки в болоте живут, свету белого не видят, одна радость дубьём людей колотить. Плот качается, вот-вот опрокинется, свара у нечисти пошла, тут истопник Иван бердыш перехватил покрепче и давай лешаков с плеча крестить. Странное дело, берет железо тех, кто к девушкам притронулся. Порубанные в топь валятся с дикими криками боли, а небитые умом ослабли, лезут как мыши в капкан. Царские дети видят такое дело, мосточки деревянные с берега сталкивают, на мосточки заскочили и на выручку истопнику Ивану бегут.

Побили нечисть. Много было радости да ликования!

Принц Пузырь как узнал, что союзников лишился, велел трубить отход. Этот Пузырь народом не бросался, солдат берёг, у него каждый ратник семь раз просчитан. Грозится с дальних рубежей: «Придёт время, я вас стравлю как собак, передерётесь, голыми руками возьму!»

Справили пять свадеб с одного. Истопник Иван на каждой за отца был. С царицей рядышком сидели. Ох, и перепотел Иван! В бою так не потел как за столом. Гости кричат надсадное «горько!», он царицу целовать лезет. Вернувшись из бегов думные дьяки Ивану вино знай подливают, подхалимничают, подвиги до небес возносят, голую голоувушку Иванову поглаживают. Царица смеялась, губы ему платочком промокала – вроде как шутила с истопником. Подпил Иван крепонько, характер занозистый и обозначился. Выкатил налитые мутью глаза, дьяков сгрёб в кучу, почал их топтать, стол перевернул – делать нечего, сташили героя на конюшню спать. Царица сама ему на конюшне сено взбила. Пятую свадьбу я едва до конца выдержал, рука устала кубки поднимать, уста тосты сказывать, сон сморил. Свадьбы- топравляли по старинному обряду, не тяп-ляп. Упал под стол, утром от того проснулся, что собака лицо лижет.

Свой врач

Ночью Юрий Михайлович проснулся и слушал дождь. Сквозь него что-то тихо и грустно пело – может, сон такой был с пением, или детство ворошило память. Вышел на улицу, закурил, постоял на последней ступеньке крыльца во влаге воздуха. Это была его родина, тихая ночь его детства, населенная невидимыми душами умерших людей. Он вернулся домой, хотел видеть живыми всех, кого знал раньше, он дышал устоявшимся запахом дома, запах был все тот же, что и три года назад, слышал шепот невидимых в ночи черемух, – небесный водолей переговаривался с листьями, с прочими творениями природы; видел темные очертания высоких тычин с неубранным хмелем, – сколько на веку было спору с соседями из-за этого хмеля, а теперь ни соседям, ни бабке Лизе он не нужен; дождь шел без всякого отчета и остановки, он позволял человеку ощутить себя во времени и в пространстве.

Утром было большое солнце, почти пустая народом деревня вроде не заметила его. Жизнь в деревне медленно умирает, у живых опускаются руки от сокрушающих событий. Дождь уснул в земле; от солнца поднялся ветер и насухо обметал исподнюю листву; дождь пробовал вставать на ноги – на небе ангелы начали собиралось по выкройкам его благодатное тело.

Юрий Михайлович доцент и дока по зубам и зубным протезам.

Целый год он мечтал прийти на свою реку, закинуть удочку на свой омут, и вытащить своего большущего хариуса. Припасал крючки, поплавки, модные искусственные наживки. Бабка еще спала, когда он отправился на рыбалку. По привычке постарался пройти дом Дорины Никитичны не замеченным – два поколения ребят выросли твердо убежденные в «дурной» глаз бабки Дорины.

Грустно Юрию Михайловичу, ветшает его громадина деревня, во всем чувствуется утрата. Из сорока домов только пять жилые, в остальных хоронят мыши да ветер. Ельцинские реформы, прошедшие по России, сделали все добытое и сбереженное поколениями мужиков похожим на кладбище, только без крестов. У живых не осталось веры, вся натура потемнела до непроницаемости: разворовали державу, оплели, сделали сырьевым придатком Америки!

Первый заброс. От охватившего волнения вспотели руки. Он ловил себя несколько раз на том, что хочется нырнуть и собственными глазами увидеть стаю хариусов, стоящих на течении, прежде чем один

из них бросится на приманку. Минуты не проходит, заветный хариус будто обнюхивает крючок – поплавок чуть притопился и нарисовал на воде круг. Юрий Михайлович делает легкую подсечку, но крючок цепляется за топляк или корягу. Подергал – нет, не отцепляется, и крючка жалко, надо искать что-то похожее на удочку с вилашкой на конце. Вдруг поплавок резко пошел ко дну. Лихорадочное напряжение, испытанное ранее, нельзя сравнить ни с чем в жизни. Это был взрыв радости. Рывок и ... в солнечных лучах растворяется одна леска, а поплавок плывет по течению. Это надо пережить, это надо почувствовать! Ярость, перед которой бледнеет ярость самого нечистого духа, обрушилась на бедного рыбака. Тот самый аршинный хариус, о котором мечтал год, уходит с крючком! Нечто подобное испытал Юрий Михайлович, будучи студентом. Бойкая старушка профессор с помощью рук растворила рот, кривым пальцем показала аудитории, где у нее сидит зловредный корешок, который надо удалить. Зачёт гарантирует тому, кто лишит её привычки постоянно ощупывать корень языком. Она поднимала «коллег» с мест, но «коллеги» трусили. У одного болит рука, другой ссылается на слабость по причине недоедания. Всех, у кого должность является синекурой, так или иначе уважают, но старушки все боялись. Когда назвала фамилию Юрия Михайловича, тот встал и пошёл, что Христос по водам – венок героя уже начал обживать его лысеющую голову. На курсе считали, что у него «искра божья». И будущее медицинское светило настолько уверовал в себя, что чувствовал какую-то невесомость. С каким восхищением провожала его Любочка! Сейчас её Юрочка шутя вытащил корешок и подаст бабушке на память. Подаст так же изящно, как сегодня подал ей сорванную ветром шляпку. Юрий Михайлович не стал долго изучать «хлебоприемник» старой женщины, едва узрев скалистый выступ в десне площадью с один квадратный миллиметр, сунул в рот орудие пытки. И откуда в бабушке профессоре взялось столько неистраченных на студентов ругательств? Она не то, что вырвалась из рук Юрия Михайловича, она уронила любимца на пол. Полная справедливого гнева, почему-то щупала не десну, гладила шею, обзвывала варваром, чеховским костоломом, инквизитором. На лицах «коллег» блуждали ухмылки: герой посрамлен! Бедная Любочка! Хихикали те, кто был слаб здоровьем по причине недоедания. Какой позор...

Юрий Михайлович не спешит привязывать другой крючок. Он жадно курит, глазами простреливая всю водную поверхность омута.

Волнение улеглось. Он хладнокровен и гадает, в каком месте стоит рыбья стая.

В этот час к бабке Лизе с другого конца деревни правится бабка Дорина. В руке у нее бутылка с лекарством, обратно понесёт молоко. Бабка Лиза держит двух коз. Трудовой стаж Елизаветы Денисовны сорок пять лет и все в животноводстве, Дорине Никитичне женщины в бухгалтерии едва наскребли восемнадцать. Рано вошла она в свой бабий разум и осохла лицом, всё как-то отходила от колхозной суэты, выжидала, что же получится в итоге от общего беспокойства. Жизнь прожила одна, жила тихо, никого не обижала, детей не нарожала. Жила будто в горе, лишенная сознания остальной жизни, она как бы ждала горе и готовилась плакать над всеми умершими. А вот Елизавету Денисовну годы согнули клюкой, три взрослых сына живут семьями по городам, дочь вдова в соседней деревне. Юра – внук гордость бабки Лизы: не у всех внуки ученые, в иных головах толку ровно на столько, чтобы стакан с водкой поднять. Дорина Никитична все лето ходит по угорам собирает травы, вроде толк в них понимает. Сунется Елизавета Денисовна с просьбой помочь сенца для коз попоставить – расцвела у Дорины трава – мурава или заболел не ко времени живот. Последний год поднаторела на «урилле» – для Елизаветы Денисовны это лекарство – тайна за семью печатями. Как говорит Дорина Никитична, тут главный «козырь» – корень папоротника и серебряный цвет.

Правится деревней Дорина Никитична, постоит у иного разрушенного дома, повздыхает:

– Эх, ношено – переношено. Вот крыльчик твой, Мефодия, совсем в землю пошёл... Бурьян черту до уха.

На столе аппетитный рыбник. Внук вкуснятины навез. Только не спешит Дорина Никитична за стол, сначала дело надо сделать. Щупает у Елизаветы Денисовны спину, достаёт свое лекарство, натирает им кожу. Отмечает положительные и отрицательные моменты процесса врачевания. Ухудшение настроения – а дождь ночью был, вот и скислла; спина меньше ноет – «урилла» кожу напитала.

– Э-э, ношено – переношено, ты ли не поробила, Лизавета? Хоть бы медаль какую дали, дак фигоньки.

– А сорок пять годочеков!

– Где ему, организму, съзмочь столько? Организм человечий служить должен от силы лет девяносто, а нам сколько с тобой?.. Всяко пожито, Лизавета. Было Ванька – бригадир ни свет, ни заря набежит

дурным – то, «все на работу!»... Ношено – переношено.

Нынче Елизавета Денисовна не одергивает Дорину Никитичну, уж она-то знает, как бригадир её выгонял на работу ни свет, ни заря. Одичал сердцем на Дорину бригадир, даже пинал ее не раз – в сенокос в валенках по деревне бродила!

Через учёного внука загордилась Елизавета Денисовна. В больницу не посещает принципиально. Однажды заявила участковой фельдшерице: «А щоб вам, дармоедкам, провалиться в тартары! Сплетни да басни собирать мастера, а лечить – умишком бог обнес!» Пришла к терапевту, послушай, просит сердце, в яму западет да еле из ямы выкарабкается, а спину «собаки грызут». Весь день голодная в коридоре дожидалась очереди, семьдесят одного человека перепустила, ведь даже слушать не стала размалеванная взвинченная докторица, выписала таблетки и все. А слушала как? Фонендоскоп к груди приложила, сама отвернулась, и даже не дышит, кажется, ещё и нос воротит в сторону. Когда Елизавета Денисовна упрекнула, мол, не по-людски поступаешь, старуха брезгует, у меня внук академиком скоро будет, молодица на крик пошла, слезы по румянему лицу побежали. «Какой ты врач, тя от бешенства лечить надо!» – сказала на прощание. Будь её воля, вышибла бы в момент из врачей. Что Дорина, неуч, лекарь из нее как из козы ездовая собака, и та больше понимает.

– Напиталось моё тело твоей уриллой, – сказала Елизавета Денисовна. – Ленька носом водит, вижу, что принюхивается, а молчит. Кабы нос у меня запахи понимал, так с рождения не чует. Может, Доринка, папоротник вонючий больно?

Дорина Никитична обвертывает Елизавету Денисовну шерстяной шалью, поверх шали суконным куском от шубы, ещё и бинтом пеленает, чтоб «жар не ушёл». Вот как надо относиться к больной старухе, а молоденьким врачам только бы скорее день кончился.

– Ну, вот... Ношено – переношено, сила большая в этом лекарстве. Папоротник не каждому в руки идёт, его добыть с наговором надо, да знать, в какой день добывать.

Елизавета Денисовна улыбается своему врачу.

Обе моют руки и садятся за стол.

– Ты поддевай любовинку-то, не скучись. Тресщину матерущую привёз внук – то, еще рыбника на три хватит. Добрый он ко мне, Юрчик-то. Кандидат наук, чин не малый. В институте студентов учит. Характером весь в Валентину, отходчивый, внимательный. Ой, Доринка, сейчас почитаю тебе бумагу, что почтальонка принесла.

Елизавета Денисовна одевает очки, достает из ящичка комода письмо.

— Стыда нет, пишут, бумагу переводят: «Уважаемая Елизавета Денисовна. Государственной инспекцией по... району выявлены факты незаконной заготовки древесины и ее продажи. В соответствии о Положении сбора за право торговли лесоматериалами...» да какого лешего тут только не написано. В конце: «В случае неуплаты будут начислены штрафные санкции».

— Эх, ношено-переношено, — удивляется Дорина Никитична. — А мне такую бумагу не прислали. С чего бы это?

— Уж Юрчика спрошу, не о шести ли досках, что на гроб пойдут, инспекторы загодя извещают?

Юрий Михайлович выкурил две сигареты сряду. «На большой омут пойдешь, дядя Юра? — вчера вечером спрашивал единственный в деревне парнишка десятилетний Женя. Рожицу хитрую сделал. — Там одни коряги. Ничего ты не поймаешь». Еще про страшную тайну намекает, мол, если дашь половить на японскую удочку, расскажет. «Знаю я эти тайны, — смеялся Юрий Михайлович. — Тебе бабка Дорина говорила, так? Слушай: не лесник идет, а поп, не ружье несет — кадило, куда стрелят там и мимо. Эта присказулька?» « А вот не скажу!»

Закинул удочку, ждет. И снова жадная поклевка, рывок, подсечка — зацепился крючок за корягу.

Бытует мнение, что рыбалка лучший отдых. Враки! Рыбалка это самоистязание, утомление и отчаяние. Когда уверен, что клевала такая рыбина и сорвалась! сам не заметишь, как внезапно сожмется дыхание, закатится сердце, захочется изломать удочку, кричать долго и протяжно.

Идет домой. Женя прыгает навстречу по тропинке через высокую траву, оседлав вицу.

— На, таинственный человек. Дарю тебе удочку японскую.

Парнишка не верит.

— Бери, лови больше отца.

— Дядя Юра, там кровати. Они под топляки ушли.

— Не понял, какие кровати?

— У дедка Мефоди стали добро выгружать на машину, сетки от кроватей оставили на улице. Папка их снес да на большой омут покидал, чтоб всякие проходимцы нашу рыбу не ловили.

— Так... так сетки там клюют? — захохотал Юрий Михайлович.

— Ага. Папка сказал: «Хрен им с маслом».

Пришел Юрий Михайлович домой, бабка встречает его, стоя посрёди избы, разгибается перед ним, неловко выпячивая вперед негнувшиеся в коленях ноги, концом фартука глаза вытирает.

— Не жилица я, Юронька, — тихо вздыхает бабка.

С удивлением смотрит внук на бабку, — сколько в ней доброты, теперь вот грустит о самой себе.

— Кто тебе сказал такую чушь? — нарочно грубо спросил внук, приблизился к бабке и обнял ее, и так стоял с нею, чувствуя забытое и знакомое тепло дорогого человека.

Утерев слезы, бабка ответила:

— Сама, Юронька, вижу. И я доживаю, и деревня доживает последние годики. Не стало у народу желания жить. Какие поля были, сколько людей в эту пору на работах было, было да прахом пошло. Вот будь всё как раньше, шатался бы ты с удорой?

— Бабушка, каждому своё. Я вот врач, другой солдат...

— Ладно, не обижайся. Не дано другой жизни прожить, а зря. Сказал бы мне Господь, что еще столько проживу да силы положил, я бы на себе плуг потащила.

— Бабушка, уж ты извини, а скажи, почему в избе так противно пахнет мочой? Скажи, я постараюсь тебе помочь.

— Господь с тобой, вроде ... Я ведь носом не чуткая. Уриллой должно быть пахнет. Доринка спину натирает. Вон под лавкой бутылочка. Корень папоротника затравливает на серебряном крестике.

У бабки живое, сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни всерьез и по правде.

Понюхал Юрий Михайлович из бутылки, заткнул тряпицей, обратно поставил. И открыл он тайну Дорины Никитичны.

— Вот я глупая-то!! Вот есть ли у меня тут? — Елизавета Денисовна стучит кулачком по своему лбу. — Поморила она меня этой уриллой, — удивляется Елизавета Денисовна, сдергивая с себя бинты, напитанную «уриллой» шаль. — И все-то она знает, ношено — переношено, всякому корешку объяснение подыщет, подлая душа. Я ещё всё гадала: откуда в ней искра божья? Век жила людей «уриллила», пускай теперь за молоком приходит, я ей... своей уриллой отдавать стану. Как натрёт, так кожа со спины отстает, зуд зверский, и хожу я по избе, хожу да смерть дожидаюсь. Ух! Беги, Юронька, затопляй баню. За два года сколько эта докторица смышлённая от меня молока выносила?..

Сердце за отечество

(сказка)

От большой сосны по высокому угору, царство царя Лариона Плевшивого раскинулось, хоть из-под руки вдаль смотри, хоть на сосну залезай – конца краю нет царству. Пашни, перелески, болота. Пространства во все стороны, за горизонт и дальше. Царь Ларион из спокойных царей, соседей не задирает,войной не грозит, однолюб, когда в гостях бывает, пьёт да голову не пропивает. Царь Ларион не пролетарий какой, царицу законную имеет, Витой звать. Царица как царица, полнотелая, улыбчивая, но последняя точка в любом решении твердая, её, Виты точка. Всего в царстве Лариона много. Бабы по грибы пойдут, всех мест грибных и за день не обойдут. Медведя повстречают, подолом сарфана голову обмотают и наговаривают: «Чур меня, чур меня! Что ты, нехристь, нас с ума сводишь? А как выкидыш получится?» Медведь в толк возьмёт, больше и не встречается. Морошки много, брусники, клюквы да земляники, возьми ты лукошко и черпай. Гонят мужики рыбу в бредень, утром начнут от большого омута муть поднимать, и гонят, и гонят, ближе к вечеру на перекате глянут, бредень-то расперло. Едва вытащат. Как и везде в царствах заведено, всё лучшее царю с царицей да деткам царским, простонародью икра да мозг. А земля в царстве Лариона жуть сильна. Вечером кол воткнул, утром тарантас стоит.

Хорошо жилось до поры, до времени. Как родила царица Вита четвертую пару – всякий раз по двойне рожала и все парни шли, волосом рыжие, чаще задумываться стала: вот у нас восемь царевичей растет, а как вырастут, обженятся, да у всех восьмерых бог даст по восемь деток, потом и я еще не стара... Нашим царским детям и царским внукам сколько рыбы понадобиться, сколько ягод, сколько вотчин!.. И велела она именем царя Лариона строгость везде учинить, чтоб отчетность по хлебу и мясу была, по валенкам и одеялам. Кто сколько носков связал, сколько лаптей, кто сколько раз в бане мылся и прочее, и прочее. И нормы потребления ввела. Умная была царица. Словцо казнокрады понятное в обиход ввела: «потребительская корзина». Дескать, потреби на волосину выше черты бедности, а дальше живи впроголодь. По себе прикидывала: на день мне три яблока надо, тогда простой бабе... А зачем простой бабе есть яблоки, ей яблочки вредны. Царице на месяц сколько платьев надо? – Пять обязательно, а бабе... около коров на навозу одно на пять месяцев. Стал народ с

хлеба на квас перебиваться. Ночами лес мужики рубят на избы, лесная стража не дремлет, за воротник берёт.

Стали сыновья царские подрастать. Выйдут на деревню поразвлечься, стон да вопль от них во все стороны.

Старшие куда с добром смердам чубы дерут, младшие палками петухам-курам ноги ломают, на поросятах верхом ездят. Кто к царю пошел с жалобой, обратно битый ковыляет, а то и ноской несут. Ванюшке сыну писаря царского руку правую вывернули и сломали в двух местах. Дошли слухи до царя Лариона, собрал он вельмож своих, совета спрашивает. А вельможи тоже на царских деток обижены, те сильно не разбирались, дочь кузнеца за власы таскают, или дочь царедворца. Как не обижены, а осторожность верх берет, бороды мнут в кулаках, глаза опустили к долу, табачок нюхают да чихают. Вот бы какой дурак из них вперед забежал, кто бы всю правду царю рассказал, тогда бы и они соли подсыпали. Сердится царь Ларион, как назло царица Вита к сестре в гости подалась. Отпустил царь вельмож, велит им на другой день опять приходить.

Ночью царь Ларион не раз подходил к кадке с квасом. Не спалось ему. Все жил да надеждой себя тешил, что встанут сыновья на крыло, - опора! переженит их на дочерях царей соседей, вот и царству прирост! То ты гостишь, то к тебе гостят, не жизнь, сплошной праздник. И все тихо; и все ладно; легли спать мирно; пробудились в здравии.

Утром смотрит в окошко опочивальни, в кулак зеваёт, ребятишки простых мужиков на санках с горки катаются. Веселые, всем довольные, а мороз знатный, у караульного солдата сосульки на усах висят. Ванюшка сын писаря кое как левой рукой да боком санки волочит на горушку. Оттаяло царское сердце. Да напраслину на его деток навели, они такие же озорники как и все... вышел из покоев один из его старших сыновей огненнорыжих, без шапки, рукава рубахи закатывает. Ребятишки санки похватали и прочь с горушкой. Ванюшка сын писаря, последним потащился. Сын на горушку поднялся и давай ее ломать. Сердце царское сжалось от горечи. Распахнул окошко, кричит:

– Что же тытворишь, облом – обломище?

Сын от слов такие сгорбился и в покой убрался.

Ближе к полдню велел царь Ларион заложить санки. Поеду, думает, прокачусь, от дум отвлекусь, свежим ветерком подышу.

Скрипят полозья саней, ездовой крепкими плечами передергивает да кнутом лошадку постегивает. Кругом снежная целина на сколько

глаз хватает. Мрачные мысли у царя Лариона. Собирал он своих вельмож, а они ни тпру - ни ну, пустокормы да и только. Жаль царицы Виты нет, она бы палача свистнула, кнутобойца позвала. У нее бы заговорили. «А прогоню я их к чертям собачьим. Сынам кормовые места отдаам. Будут они при деле, перестанут злобиться. Одному дрова отдаам – пускай ведает, другому воду – пускай меряет, третьему уголь, четвертому науки... Семейный клан будет. Рыжее правительство». И рассмеялся царь от такой острой выдумки. Вот, скажут соседи, до чего мудр царь Ларион... Выпорхнул из лесу лось, на мах летит наперерез царскому возку, так и норовит мордой своей горбоносой царя Лариона из саней выбросить. Испугался царь Ларион, вцепился руками в сидение. А лось его не тронул, рядом с лошадью побежал. Лошадь от такого соседства ушами прядет. Лось всё ходчее да быстрее, далеко позади возок оставил и пропал в снежном облаке. «Да-а, - опамятаился царь Ларион. – Чудеса да и только» Подъехали они к ручейку говорливому. Вышел царь Ларион, умывает лицо водой родниковой, все о лосе думает. Поехали назад, полоз у саней и лопни. Возок на бок завалился. Разгневался царь Ларион, ямщика кнутом отодрал. Ямщик лошадь выпряг, царя верхом на нее усадил, сам лошадь в поводу ведёт. Качается царь на лошадке, шубу соболью поправляет, воротник поднимает. Одно дело в возке сидеть, другое в мороз верхом на конской хребтине. Пропал санный след, вместо него одни ямы от ног лося, и местность оба признать не могут. Бранится царь Ларион. Ямщик то в одну сторону попобежит, то в другую кинется, а снегу по пояс. Побрели по следу, куда нибудь да след выведет. Завёл след в лесок. От ямщика пар валит, царь Ларион весь иззяб. Ближе оказалось, что лесок-то немалая рощица, лес топором не тронутый стеной стоит. То там, то сям лесины толстущие дугами выгнулись, мхом да лишайником обросли. Лошадь хрюпит, на дыбы встаёт. Пришлось царю Лариону ножками брести, через завалы переползать. Нагрелся. Ямщик на царя оглядывается, царь Ларион следы лосиные примечает, куда укажут, туда и бредут. На тропку выбрались, повеселились. И лошадь ожила, жрет призываю. Разбойники налетели. Лошадь-то, оказывается, других лошадей учゅяла, то и ржала. Царь Ларион все с себя посыпал, грабьте, тати окаянные. Идите, говорит разбойникам, нашим следом, возок царский найдете. Разбойники на коней и поскакали. Думали, что возок золотом набит.

Намаялся царь с этой прогулкой, долго ли коротко ли, воротился домой. Царица Вита траур одела, думала больше мужа любимого не

увидит. Отлежался, отоспался да в бане пропарился царь, и говорит царице, как он дальше реформировать державное управление будет. Царица похвалила мудрое решение. Про себя отметила, что лежа на мягкой перине не додумался бы царь до такого, передряги кровь оживляют. С родительского благословления отдал царь двум старшим сыновьям промыслы, одному рыбные тони, другому пушные заготовки. По первости сыновья с охоткой взялись, царь Ларион не нарадуется. Держал вельмож толстопузых, только и слышал ворчание да пыхтение, а как сыновья заправлять стали, все хорошо да все гладко. Год идет и другой минул. Стали братья соседним царям- королям завидовать, захотелось им жить богато. А как богатство нажить, как не с лукавить? Стал рыбный управитель рыбу по дешевке за границу отдавать, благо рыбы много, пушной управитель рынки сбыта пушнине нашел доходные. А к тому времени царь Ларион всех восьмерых сыновей на ключевые посты определил, младшие видят. Что старшие делают, и они не отстают. Всему есть мера: рыбы в реках мало стало, зверя повыбили, лес повырубили, ягоды у соседей оказались, и грибы у них, про хлеб и говорить нечего. Налоги непомерные, голодает народ. Начали смерды роптать, начали сыновья дружины вербовать в соседних державах.

Царю Лариону люди жалуются, собирает он сынов своих рыжих, обиды высказывает. А сынки ухмыляются, ты, говорят отцу, сиди на своем троне да помалкивай, то самого в рабство продадим.

Вот раз прибегает к царю Лариону охотник, врагов говорит, идет полчище огромное, жилища разоряют, людей в полон берут. Нет силы ратной, собирались мужики и решили: пускай жгут да разоряют, и так все плешиивый царь Ларион со своими рыжими сынками разорил.

Царь Ларион с царицею Витой опечалились. Какая сила от сынов разорителей, сынкам балы подавай да развлечения. Бежать надо, говорит царица Вита. А куда бежать? Это только легко сказать, возьмись- ка ковры да хрусталь упаковать, золото от алчных глаз спрятать, мебель, перины... Переговорщик неприятельский прибыл, заявляет такое:

— Хозяйство вести не бородой трясти. Какой ты царь, своей земле отец-радетель? Пугало ты огородное, посмешище в бабьих руках. Помнишь, как тебя лось кружил по снежному лесу? То я был. Царство твое забираю. Жизнь тебе дарую, назначаю главным водовозом и по совместительству истопником. Не больше царства твоего, вензеля с ворот сшиби и встречай меня хлебом- солью.

Было от чего тосковать царю с царицею. Сынков своих рыжих на со-

вет собирают, а сынки в бега подались со своими ватажниками. Первый раз в жизни царица Вита заревела, твердость потеряла. Стали готовиться к худшему.

Ванюшка сын писарев ополчение собирает, зовет мужиков сразиться с завоевателями.

— Да что вы, народ православный, земля нам мать родная!

— Тебе, может, и мать, а нам мачеха, — отвечают мужики. — За что сражаться зовёшь? За Отечество? Нет у нас Отечества, последняя рубаха рыжим принадлежит. Рассуди ты, Ванюшка, трезво, велика ли печаль, что нас нищих да оплеванных король Лось к рукам заберёт, что царь Кабан загребёт, лишь бы от рыжих избавиться.

Мало желающих в поход собралось, да и те склонные к поживе.

Стала рать Ванюшкина против орды короля Лося, смех да и только. Одежонка на ратниках рвань, оружие — топоры, а главное — слабость духа все чувствуют и страх: сорока провершит — оглядываются. Выехал вперед войска короля Лося поединщик — любота! Покричал Ванюшка — нет с ихней стороны ответщика, пришлось поединщиком самому быть; стыдобра! Поединщик неприятельский сильный, сыйтый, латы на солнце горят, конь под ним резвый, Ванюшка пешим выходит, одно плечо выше другого, сам замореный, левой рукой топор сжимает, правая-то рука плетью висит. Изуродовали руку рыжие сынки царя Лариона. Король Лось велит своему поединщику не убивать Ванюшку, хватай, велит арканом, тащи ко мне. Я блаженных люблю, шутом назначаю. Не тут-то было, не притащил поединщик Ванюшку на аркане. Тот отбивался да нападал, и погиб в неравном бою. Ополчение пощады у короля Лося запросило.

Нет больше царя Лариона, есть истопник Ларька. Нет больше царицы Виты, есть свинарка без имени. Народ оправился от бед, постепенно леса зверем наполнились, реки рыбой. Про рыжих управителей не слышно, знать за моря подались. Король Лось в свою землю ушел, наместника оставил. Не зря он лосем по здешним лесам бегал, хорошо вызнал обычай да характер здешних людей. Им на горло наступать не надо, по добру да согласию и подать заплатят, и за себя постоят. Живет народ, плодится, нет-нет да вспомнят мужики Ванюшку, сына писаря. И пожалеют, и побранят.

Сказка про старого черта.

На краю болота подле торфяной ямы жил себе поживал старый хромой черт. Когда-то в молодые годы бежал он ранним утром - потешился над Змеем Горынычем, одну из трёх лап несчастному кислотой облил, видит, земля курится; ну, курится и курись, понадеялся на силу да сноровку, раз прыгнул - сажен десять махнул, другой - все пятнадцать, молодецки ухнул, молодецки свистнул, скакнул и угодил в горящую ямину. Торф под землей горел. Там ногу и повредил. За хромого высоватали невесту чертовку ростом маленькую, лицом корявую, - у чертей как и у людей, не тужи, красава, что за нас попала: за нами живучи - не улыбнешься. Наложила хромота отпечаток на характер черта, строг он к жене был, неразговорчив, всё молчком да кивком, понимай, как хочешь. Наводили они детей, дети выросли, по свету разбрелись, тут судьба погладила черта против шерсти: жена умерла. Хоронил жену, всплакнул, хотел было головней прокатить по всему болоту, одумался: «Летела муха горюха - попала мизгию в тенета» - потужил да и зажил один себе.

Тишина властвовала над всем и вся. Уединение воспитывает даже в черте молчаливость и величественность. Висит на косяке листок календаря, приkleенный давным - давно кем - то из детишек, на листке строчки:

«...как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами...»

Домишко у черта от ветхости в землю уходит, дверь скрипит, зимами волки под окошком воют, один сверчок - добрая душа, поет немудрящую свою песенку. Живёт чёрт, ни радости вечной, ни печали бесконечной, коротает день к вечеру. До такой поры дожил, что люди радио изобрели, газеты печатают. Сидит, бывает, на завалинке, птиц слушает, верит и не верит, а птицы по белу свету летают, новостей у них много. Самому по белу свету побегать, ноги размять, куда там, неохота. Упойенно - тихое состояние духа - нет земли, нет быта. Весной ожило болото, глухари ток разметали. Даже глухари не трогают в черте романтических струн: всё в прошлом.

Черта сон не берёт, дрема не клонит, еда на ум нейдёт.

Горе горемыка, хуже лапотного лыка.

Прилетел годок - ворон, в оконце клювом долбит, хозяина на свежий воздух зовёт.

- Со счету сбился: двести один год мы с тобой живём или двести два? – спрашивает ворон черта.
- Большая разница? – ворчит черт.
- Деда своего этой зимой встретил, тебе привет принёс.
- Надо же, живой... до трехсот дотянул?
- А то! Гоняет молодуху, перо летит!
- Битого, пролитого да прожитого не воротишь, говорят люди. Эх – хее. Пущай гоняет.

О том, о сём калякают. Старые оба, всё больше о молодости своей вспоминают.

Летит сорока – белобока, шуму от неё на всё болото:

- Кр-расавица! Умница! Кр – расавица!
- Стой! – кричит ей ворон. – Чего верещишь?
- Чер-ртовка молодая на болоте появилась, др – ряхлые смор - рчки!

Улетела сорока, а ворон да черт сидят себе рядышком. Щурится старый черт от яркого солнышка. Ворон про дальние страны рассказывает, – летал этой зимой к теплому морю. Не понравилось: лишенная всякой романтики жизнь возле теплого моря, ожиреть можно от избытка пищи, то ли дело у них, на болоте. Зимой попостишься, весной на клюкву навалившись – вон её сколько из – под снега вышло, а летом!.. рай.

- Дойти что ли?.. – флегматично спрашивает черт ворона.
- Слушай ты сороку... хотя, с другого боку зайти... – отвечает ворон. – Где-то гуляют, а у нас рыдают: можно. Скуку развеять. Беда, мой друг: в моднящих костюмах порядочные черти нынче по гостям ходят, при галстуках. Ещё сперва гонца шлют, примут тебя или от ворот поворот. Ты когда последний раз в парикмахерской был?
- В парикмахерской, – хохотнул старый черт. – Я по – старинке: головешкой горелой везде подравняю.
- Эх ты, чудило пещерное. Ус молодит, борода старит: в парилку когда последний раз заглядывал?
- Прошлым летом. Подваниваю?
- Маленько. Значит так: парикмахерская, баня и костюм. Приведи себя в божеский вид.

Вскочил черт, едва ворон Бога помянул. Осерчал - лампадным маслом по душе слова о Боге, чуть другу ворону крылья не обломал, хорошо тот взлетел во время.

- Ну, оговорился, оговорился, – кричит сверху, – с кем не бывает!
- Оговорился! Говори да откусывай!

— Прости, это влияние теплого моря. Я бы век свой!...

Ближе к ночи вышел черт разбойничать.

— Кушак мой верный! На меня!

Слетел с полатей пыльный кушак, вокруг тулова пять раз обмотался. Черт дыхнуть не может, передавил кушак всего.

— Ослабь! Ишь, обрадовался!

Всю ночь шёл, поутру вышел к селению. Когда-то давно переселенцы тут колготились, текла речушка, заросшая ряской, а ныне домина трёхэтажная к облакам жмётся, на воротах застыла статуя быка, смотревшего в никуда. Шея у быка шелковистая и мощная, передняя правая нога роет землю. Где дощатые бараки стояли, там пруд ухоженный. Окна в домине большие, крыша железная, забор вокруг домины в три сажени, сад на заморский манер разбит, музыка гремит, танцуют нарядные молодые пары. Молодой поэт в расшитом голубом камзоле, в ушах переливаются перламутровые серьги, читает поэму про ослепление Реза Кулы, персидского шаха и показывает всем изумрудное интальо, якобы из сокровищницы Великих Моголов. В сердце инталью горит алым цветом изумруд — от пролитой крови казненных он стал алым и таким же горячим от щипцов палачей, что терзали виновных. Вот вывел из конюшни горячую лошадь широконосый рыжеватый молодой человек с живыми глазами и властным лицом, на лошадь вскочил, тут ещё молодые люди, худо пропрезвевшие с ночи, прибежали, подают всаднику рогатину. И кричит всадник, размахивает рогатиной:

— Давай!!

Вывели медведя на цепи, цепь с медведя сняли, и с визгом, с хохотом кто куда прочь. Всадник начал на медведя конём наезжать, рогатиной в бок тыкать. Началась потеха. Мишка ревёт от боли, бежать не бежит, и нападать на человека не хочет. Ручной был. Поэт перестал читать свою поэму, — чего доброго на его глазах медведь снимет скальп с его друга; поэт уже начал мысленно подбирать первую строчку посвящения. Буйный молодец из себя вышел, соскочил с коня, тычет медведя рогатиной, по морде кулаком бьёт. Наела медведю подобная наглость, раз лапой нахрапистого молодца задел, да другой по загривку дернулся, молодец рогатину кинул и бежать. Медведь за ним. Друзья задиристого молодца подстраживали свои животы, ворота распахнули, молодец, преследуемый медведем, и бежит, сам не знает куда. Медведь сажен сто отбежал, завалился под отдыхать. Разучился на длинные дистанции ходить.

А молодец бежит, не оглядывается.

Черт смекнул: этот одуревший от страху господин сам ему в руки летит.

Забежал да навстречу молодцу и топает. Дорога торная, широкая. Встретились. Несётся запыхавшийся человек, одет с иголочки и порядком навеселе, облезлый старый как с базара идёт не торопится. Увидел человек представшего перед ним черта, на колени перед ним пал. И, запинаясь, стал говорить, что он депутат и персона неприкасаемая, да черту без разницы, к какой он касте принадлежит. Мигом черт раздел до гола, одежду на себя – как по нему шито, кушаком подпоясался. Пахнет от костюма табачищем. Шарит в кармане пиджака, нашёл зажигалку. Чирк – выскочил огонёк. Почиркал, бороду себе подпалил, волосы на голове пожёг тоже.

– Мы по-старинке, – хохочет себе.

Утром кличет ворона.

– Ну, как я в фас и профиль?

Ворон нашёл черта достаточно нарядным, а опаленные волосы на голове и бороде под стиль моды хиппи.

– А подарок? – спрашивает ворон. – С пустыми руками?

Хлопает себя по рожкам черт: обленилась голова думать от безделья. С другой стороны, оставил он господина голым, не было на том ни золотых перстней, ни бриллиантовых серёжёк.

– С пирожками, что ли, капустными идти? – неуверенно спрашивает черт ворона.

– Правильно, очень даже прикольно!

Напек черт пирожков с капустой, в решето сложил, и пошли они с вороном в ту сторону болота, откуда сорока летела. Ворон летит вперёд, присядет на сосну, ждёт хромого друга.

Видит ворон, голубь мимо них взад – вперёд пролетел. Смекнул, что это посыльный чертовки на разведку вылетел.

Нашли. Живёт чертовка в шатре полотняном, вроде ни в чем нужды нет, хотя дров возле шатра ни полена, ни коряги. Музыка у неё играет – перенимать стали черти у людей развлекать себя всякими штучками. Не обманула сорока: эх, и хороша чертовка молоденькая! Звездисты очи, рассыпчаты, роток с позевотой, видно, что с серебра умывалась. Полусидит, полулежит на подушках, покуривает. Удивился старый черт: нюхают черти табак, но курить – не курят. Нюхают, чтоб чихать, ведь от чихания зрение лучше бывает.

— Слышали мы вести про шесты да насести, — приветствует чертовку ворон.

Сказано: не стыдись, а нагнись да поклонись, спина не переломится, а хожайке уважение.

— Раньше гостям самовар ставили, — проворчал старый черт.

— Ставили. Званным гостям, — соглашается чертовка. — Самовар, конечно, у меня есть, подобрала на свалке, но я не умею им пользоваться.

— Давай его сюда, — говорит старый черт.

Толки о быстротекучести нашего времени, его ритме, никогда не смогут унять тоску о русском тульском самоваре, символе семьи, устойчивости во времени и пространстве. Черт ещё помнил свою бабку, её заплаканное дымными, нестрашными слезами лицо, помнит колена трубы, сосновые шишки...

Мигом обиходил ведерный самовар старый черт зернистым песком, воды налил, шишками вскипятил, и несёт его в шатер; самовар, по-купечески сияя надраенными боками, улыбается всем.

Пили чай с блюдечка, колотые кусочки сахара губами присасывали. Стал черт выведывать, долго ли молоденькая чертовка на болоте гостить собралась. И ворону интересно: как в зиму останется, ведь оклеет! Дров возле шатра нет, кормовых запасов и подавно, — погибель! С погляденья сыт не будешь. Угощает старый черт чертовку пирожками — ничего, ест чертовка да похваливает. К его костюму носом сунулась, как засмеётся, а смех у неё будто ягоды журавлики по кочкам катятся, мягкий, тонущий в ямочках щек. Стал черт душой отходить. Вспомнил себя молодым да веселым. Вспомнил, что когда — то дед говорил ему про римского поэта Овидия: « Только прыгнув в гроб, из щелки под гробовой крышкой я шепну миру всё, что думаю о женщинах, и пусть тогда крышка захлопнется навсегда». Достаёт чертовка из сундучка стаканчики да наливочки бутылку, давай, говорит, дедушка — пенёк сморщеный, опрокинем, не зря же ты экую даль ко мне шёл. Музыку поставила, ноги сами в пляс идут. Жарко старому черту в костюме. Галстук всю шею передавил. Пришлось галстук снять, пиджак тоже, сидит в одной красной рубахе.

Развеселилась чертовка, предлагает старому черту, в картишки перекинуться.

— Какие карты? Всё забыл — перезабыл. Раньше, каюсь, был грех — играл, а теперь... Это сколько же лет я карты в руки не брал? — спрашивает ворона.

— Нашёл писаря. Ты не помнишь, откуда мне помнить? Не в тот раз ставили на Змея Горыныча?.. Кто проиграет, тот на сонного Змея Горыныча кадушку кислоты выльет?

— Точно! Продулся в пух и прах!!

— Вылил? — спрашивает чертовка.

— Пришлось. Вот тогда и повредил ногу. Раззадорила ты меня, краса писаная! А давай, ковырнём то, что мхом поросло!

Голубь сел на плечо хозяйки, прижался. Глазки его зорко следят за картами.

— Что заложишь? — спрашивает чертовка.

— Слово своё твердое: ягод, грибов насобираю тебе — годом не осилить, огород вскопаю — сади капусту, сади репу. А ты что поставишь?

— Тебя поцелую.

— Нет: отыгрываться ко мне придёшь.

Не соглашается чертовка. Голубь ей на ушко что-то говорит, отговаривает. Торговались да торговались — согласилась. Ну, думает, облапошу я этого дряхлого старика. Одурел, оглушен от прожитых лет. Пренебрегла, молодая да неопытная, бабкиным заветом: добровольно перешагнёшь порог черта, будь то молодого или старого, суженым своим назовёшь, до конца дней своих горе и радость с ним разделишь.

Удалили по рукам.

Плутует, шельмует чертовка, голубь, что думный дьяк плутовать помогает. Кушак у черта не простой был. Он вокруг хозяина пять раз обмотается, а надо — легче пуха лебяжьего станет, глазом моргнуть чертовка не успеет — подменил карту. Обыграл чертовку старый черт. Три раза с одного.

Загрустила молодая чертовка, расхныкалась. Я, говорит, на родителей обиду держу, частную школу бросила, в дурную кампанию попала, по хозяйству — ни горшок вымыть, ни рубаху починить, идти отыгрываться никак не могу. А старый чёрт, как говорится, закусил удила. Шёл вроде шутя, скуку развеять, а вот пригрело, согласен через восемьдесят могил схватить сладкий блин.

— Слово поставила, — говорит ворон. — Слово держать надо. Люди говорят: спорь до слёз, а об заклад не бейся. Пусть люди слова не держат, а мы, народ лесной, охай не охай, а вези до упаду.

— Да у меня ни сапог, ни плаща, одни босоножки... Нет! Не пойду!

— Тогда понесу, — говорит старый черт.

Тяжелый на слово чёрт был, ибо сказано: плясать смолоду учись, под старость не научишься. Не умел он говорить красиво, весна весной, а натура хоть студень варя. Чужие петухи поют, а на нашего — типун напал.

— На руках? — встрепенулась чертовка, разрумянилась в миг. Вроде лестно ей, как старый глупый черт её на руках через всё болото тащит.

— Годы не те. В пестере. Кушак мой верный, принеси мой пестерь, а мы пока посидим, покалякаем, время идёт — не угонишься.

Спохватилась чертовка, да поздно. Куксится. На вопросы отвечает неохотно, маму родную вспоминает, бабку, классную воспитательницу, какой-то статьёй уголовного кодекса пугает за посягательство на свободу личности. И голубь плачет, капельки горькие горошинками из глаз катятся.

Воротился кушак с пестерём. С мокрыми от слёз глазами забралась чертовка в пестерь.

— Кушак мой верный, можешь ли ты упаковать шатер и пожитки и доставить в наш терем на краю болота? — спрашивает черт кушак.

Кушак в знак согласия завязался большим красным цветком розы.

— Нет! — воспротивилась чертовка молодая. Характером была «молоды кобыла, да норов стар» — упрямая. — Отыгрываться — да, но шатер и пожитки не троны!

— Ишь, как она искру высекает! Кушак мой верный, на меня!

Несёт старый черт в пестере через болото ношу драгоценную. Кругом весна на болоте, распустилась весна и в его сердце. Не знаешь, где потеряешь, не ведаешь, где найдёшь.

Горько плачет чертовка. Тоска по молодости начала шевелиться в старом черте... Слезы, слёзы, ему больше по сердцу шла бы отчаянная ругань, обличение всего мужского рода во всяких грехах: мол, вы самовлюблённые лодыри, напыщенные павлины, вы хотите умереть в любом месте и там вам лафа, — мрите, но не губите юность других! Никогда не иссякнет чертовское любопытство, и всегда ради его удовольствия черти пойдут на риск, на аферу и на смерть — последнее больше относится к людскому племени.

— Переложи печаль на радость. Отыграешься, — говорит ворон, описывая круги.

— И то: учат, учат в этих школах, а чему научат? Раньше с пеленок науку выживания постигали, а теперь? Расскажи, как люди от безделья голые на песке у теплого моря лежат, — поддакивает старый черт другу

своему ворону. – Выпороть тебя не мешало бы: через табак из школы турнули?

– Сам тоже куришь! – идёт наперекор чертовка.

– Это ты зря. Я костюм в прокат взял.

Ворон знает: кто накрошил, тот и выхлебает.

Ставил пестерь на кочку старый черт, отдувается. Не под годы подобные ноши носить. Куда он тащит молоденькую чертовку? В избенку свою, в землю нижними венцами ушедшую?

А недалеко стоит трехэтажный домина, на воротах бык с шелковистой и мощной шеей... песок на пляже шуршит тихо, умиротворённо, по – приречному...

– Кушак мой верный, помоги хозяйскому горю: вышиби с моей дачки взашей загулявшихся гостей и близких родственников. Вульгарная молодёжь нынче пошла, пригласишь на часок, они неделями готовы на чужом жить, – говорит черт.

Кушак сбросился с черта, на земле растянулся: не понимает задачи.

– Вспомни: дачка моя трехэтажная, пруд, конюшня, бык у ворот, молодые повесы медведя на цепи водят...

Кушак выписал пируэт в воздухе и пропал.

– Ты это... ты куда навострился? – тревожно спрашивает ворон.

– Куда, куда... домой.

– Ты в своём уме?

Молоденькая чертовка из пестеря почти вылезла, ощущение такое, будто она дом трехэтажный уже видела и готова к встрече с ним. У неё растёт тревога опоздания. Она ведёт себя замедленно неторопливо во всем, хотя черт видит, что она дергается. Женская наивность и хитрое испытание: и колется, и хочется, и мама не велит.

– Дедушка, у тебя трехэтажная дача? – наконец спрашивает она, вся сгорая от предвкушения неожиданно свалившегося богатства.

– Ма-аленькая, всего три этажа. Кушак сейчас приберётся.

Старый черт касается руки молодой чертовки. Сердце его скидывает с себя весь хлам, скопившийся годами одиночества. Молоденькая чертовка смеётся. Её ноги утонули в лыковом пестере, а руки уже хватаются за ручки многочисленных дверей комнат, глаза злато с подносами кладут налево, с серебром направо...

Март 1994 год.

Господин гл. редактор! Я посыпал вам несколько замечаний, вы советовали поработать над сюжетами, стянууть их до кучи, я подчистил текст и вот, на ваши суд, высыпаю юмореску «Фонарь».

Народный мститель.

Фонарь.

У нас в деревне горит на столбе фонарь. Один на всю деревню. У медпункта. Медпункт – это последний оплот цивилизации в нашей стороне. Раньше сторона звалась «медвежьим углом», но там, где некогда шумели боры, нынче можно разбивать футбольные поля, у каждого медведя на спине тавро – личный номер. На медпункте мы выбираем депутатов в Государственную Думу, и Президентов выбираем, и слуг народа выбираем, и достойных сынов. Выбираем, и никому не верим. Всю веру доедают реформы. Выбираем честного человека, а нарываемся на вора. Не понятно как-то... На медпункте бабки песни поют жалостливые, всё про счастливую жизнь в колхозе. Ностальгия. Клуб последние десять лет на замке, давно бы его какой нибудь ушлый зачонник к рукам прибрал, да стоит наша кирпичная громадина далеко от областного центра, кому нужна кирпичная крошка? В бывшую колхозную контору большинству населения доступ закрыт – неизвестно кто и неизвестно у кого арендует помещение (из трубы иногда валит дым, в помещении стучат молоты). Слух идёт, что цыганистые горбоносые умельцы куют хорошие оградки на могилы, но аборигенам оградки не под кошелёк, в таких оградках лежат денежные господа. У нас есть подозрение: в бывшей конторе куют сабли и кинжалы. А вдруг нас отделят да шведам отдадут? А шведы пенсию платить не станут, мы коммунизм не у них строили. Вы бы шепнули кому следует, мы заложниками быть не хотим, нам партизаны не надобны. Простите, отвлёкся. И горит фонарь, представьте себе, только днём, с 10 до 16 часов. И прошлой зимой так горел, и этой так, и летом в таком режиме пашет.

Нам, коренным поселенцам, жителям резервации, фонарь бы этот как попу гармонь, вовсе ни к чему, а районной администрации, понятное дело, надо отчитаться перед областными тузами, мол, смотрите, господа, мы же не против поселенцев, живут себе и живите. Районные господа и прочие подхалимы тоже люди, перестанут вышестоящим го-

сподам уши парить, им оклады порежут. А зачем нам фонарь, если зимой дорог никто не прогревает, и тонет наша деревня в сугробах? Какая изба сгорит, стало быть, той избе век изошёл. Народ у нас закаленный всячими испытаниями на прочность, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, завещал классик. Заболел человек, на чunksи его, или в ванну закатим, веревками примотали и вперёд! Только бы живого до медпункта дотащить, а там медичка живо на ноги поставит. Вы бы похлопотали, нашу медичку пускай хоть грамотой наградят, ведь золотая женщина! У неё таблеток центнер верный в запасе имеется. Когда колхоз пасынки Ельцинские наскочили грабить, она, рискуя жизнью, ветеринарную аптеку и лабораторию домой переносила ночью. Микроскоп и тот сохранить смогла, нынче, говорят, под микроскопом деньги печатать можно. Почтальонка разносит пенсию на лыжах. Она у нас спортсменка. И кому дороги для нас прогребать? Колхоза нет, техники нет, хлеб в магазин привозят в те дни, когда в хлебопекарне выходной. Хлебовозка идёт до какой-то определенной точки, летчики её называют точкой возврата, видит шофер – радиатор кипит, дальше метр дёрнуться и до весны тут куковать, встанет на подножку машины и взымет к небесам и поселенцам: «Кто хочет жрать – выходит – и!» Малолетняя ребятня рада – радешенька. Школы у нас в волости нет, детей растолкали по интернатам. Вертаются ученики весной из городков, споры родителей с ними частые. Детишки говорят нам, что вы, старшее поколение, балласт, от вас одна головная боль Западу и Востоку, через вас страну не пускают в ВТО. Нарождающемуся капитализму нужен простор, нужна нефть, газ, уголь, дрова, медведи, а вы – полезные ископаемые, последние могикане, вы живёте вчерашним днём. Верно, живём вчерашним днём, скорее, доживаем. А кто страну после войны на ноги поднял, кто в космос двери открыл, полмира в нашу веру обратил? Мы! Мы защищали в 41 – м Москву от врага, нынче защищаемся от Москвы. Простите, немного занесло в сторону... Которые старики попроворнее – в первых рядах идут, дрекольем отбиваются от озверевших собак, которым месяц – другой до прописки на кладбище – тыл прикрывают. По фонарю стрелял парнишка проказник из духовки – как горошины пульки от стекла отскакивают, из рогатки камешками ребятишки лупили – мимо, из дробовика ветеран Сталинградской битвы жахнул – заряд пороховой не скучась сыпнул, а картечь положить забыл – откинуло стрелка в канаву. Вылез, глянул на фонарь, плонул и сказал: «Дети Чубайса заговор положили. Серебряной пулей надо хлопнуть». Отступились от фонаря. Принялись за столб. Первым попробовал столб на крепость

охотник на «Буране». У него в райцентре три магазина, магазины записаны на бывших жен. Возьми такого проходимца с кондаком налоговая инспекция! Этот «Буран», по впечатлениям иногда забегающих к нам на сафари чернокожих американцев – кабанятников, страшная русская машина. Как пёр во все лопатки, так и вдарился. У бизнесмена сотрясение мозга, ствол итальянского карабина дугой, под прицелом ночного видения нынче медичка навострилась уколы старухам делать в полной темноте, ревущая машина добежала до реки и провалилась в полынью, а столб как новенький. И провода на месте, и изоляторы не побились, а фонарь ещё ярче загорел. Сказывают, недобитый спекулянт четвертый раз женился на бывшей жене персидского шаха после выписки из больницы. Простите, кинуло немного... Попробовал другой товарищ, на вездеходе немецком. Якобы жирного банкира из Москвы вёз с медвежьей охоты. Стрелял банкир по годовалому медведю № 0001. И что? Что, что... один столб на месте стоял, а другой столб дорогу перебегал, водитель между столбами норовил пролететь, а столбы машину обжали. Передний мост «у немца» вырвал. Но столб... всё же дерево, разорвался ствол от макушки до пупка. Приезжали районные электрики, тремя цементными подставками подсилили. Наши мужики советовали и четвертую подставку «заедренить», электрики пожалели, сверх лимита, говорят, ставим. Не учли электрики тот факт, что лесов не стало, дуют ветра как в пустыне Сахаре. Не иначе как бракованные подставки ставили: был ураган 40 метров в секунду, у половины деревни крыши с изб в поле улетели, и подставки, увы, не выдержали напора стихии. Что не делается, всё к лучшему: электрики новый столб поставили, и фонарь на него прикрутили. Хорошо, что поля у нас последние двенадцать лет не пашутся, старые гвозди из ломаных тесин собрать можно, попутно рыжиков корзину насобирать... Ведь и говорили наши мужики: отдаём фонарь в райцентре ближе к заголовью, то бишь, администрации; фонарь чужой, разве жаль чужого? На здании два десятка табличек висит, не понятно, какой депутат, какого уровня, по вертикали свой или по горизонтали американский и в какие дни принимает, какое доверенное лицо какой партии в каком кабине тезисы читает? Нынче мы пороги в заголовье обиваем: чем – то крышу крыть надо? Надо, до окончания реформ очень далеко, если судить по нашему обнищанию, а у нас ни тесины, ни шиферины, и купить не на что. А вдруг американцы дадут материал, привезти-то как?.. От райцентра до нас 40 верст.

Одна старушка (из «зелёных») устроила под столбом кормушку. Лосей подкармливает. Их у нас бьют нещадно. Постоянную прописку

имеет ватага ушкуйников, их шесть бандитов. Представьте себе картину: идут строем шесть «Буранов», рёв такой, будто запустили космический корабль, шесть карабинов с оптикой и ночными прицелами, да как начнут пулять!.. Чтобы лосю выжить, нужны очень быстрые ноги. А ватага всю зиму «добывает» всего одного лося. Лось бежит – бежит, одну ногу откинет, как ящерица хвост, пока бандиты ногу делят, он и убежит. Вот бабка под вечер и давай кликать: «Люська! Люська! Выходите, родимые, пьяные в дымину валяются ваши губители!» И выходят лоси из укромных мест, слезы по мордам бежат, кто на трёх ногах скакает, кто на двух ползёт.

Худо жить поселенцем. Не зря в словаре написано, что поселенцы – народ, временно проживающий на чужой территории. Это только на пакете с молоком «хорошо иметь домик в деревне» жизнь в деревне мёдом мазана, это, дескать, великое счастье с кисельными берегами...

Приезжайте к нам! Мы научим Родину любить! Поселенцами будете. У нас тишина кругом ангельская. Только пейзажи писать. Корова не замычит, петух не пробьёт зарю. Коровы у нас пошли за долги перед Родиной. На конец существования колхоза, каждый колхозник, как подсчитали умные люди в банках, живой или мёртвый, должен остался на сумму той самой машины, которая якобы полагалась нам по ваучеру. Речки обмелели, на клюквенном болоте иногда попадаются странные железные ящики с пиратским изображением черепа и костей. Подозрительно, конечно. Может, это спирт? Помните кино, как американцы с подводной лодки нам бочку со спиртом подсунули, чтоб тайны наши выведать? Миша Евдокимов играл. Вот какой спирт, технический или питьевой? С технического, говорят, ослепнуть можно, а зачем питьевым разбрасываться? Воздух у нас, особенно зимой, сухой и колючий, страсть живительный. У нас на каждого живого приходилось до прошлого года по 9 гектаров земли. Потом пришли бумаги, мол, откажитесь от земли, или Родина вас задавит налогами, мы и отказались. Пожить-то охота. Это ничего, что ни сохи, ни бороны, ни склада не у кого нет, главное – мы теперь свободные пролетарии! Правда бумаги, чтоб мы налоги за землю платили, органы присылают исправно. На растопку печи используем. И тебе, уважаемый господин редактор, земли дадут, если хорошо попросишь. Земли у нас много. В любую сторону бреди. Ещё раз о фонаре: живучий гад! В музей его не возьмут? Пережил семи вождей, раритетная вещица.

Дядя Шура

Вымрут такие мужики как дядя Шура – стоять деревне ободранной. Счастье у каждого свое, всяк его своими четвертями меряет, главное, пустокормом не прожить, нить свою не потерять, уметь отличить зерно от шелухи, людей не обижать. Изначально дядя Шура счастлив: живет там, где пуп резан, и похоронен будет рядом с отцом и дедом. Восьмой десяток деревню ломают, а она стоит! Раньше Родину любили, родиной зря не швырялись, и с пьяных глаз на Родину не сморкались. Раньше месяц во ржи в летние ночи пасся, нынче рожь не сеют в колхозах, ибо колхозы протянули ножки. Но не вывести мужицкий корень, хоть гни нас, хоть ломай нас, одна волость от Руси останется и от той держава раскустится!

Хорошо думается долгими зимними вечерами под завывание плачущей бури – метелюшки. Будто не ветер за окном голодным волком воет, годы прожитые памятью обогреться просятся. Лежит на печи дядя Шура, ноги в трубу упер, думы веселые и тоскливые, и чего только на ум не падёт. Говорят, жизнь полосами ходит, оно и правда. Вспоминает берестянную зыбку, школу, чёрные бани, пение обозных саней, ржание лошадей, цветущие черёмухи, умерших мужиков… а годы, эх, годы, плодоносное время! Настигают они нас, настигают. Лёжа на печи он всякий раз испытывал то большое счастье, которое доводилось ему испытать на сенокосе, на уборке хлебов, на любой колхозной работе. И все люди были такими близкими, и всё было таким радостным, и непогода за окном казалась сквозной, прозрачной, лёгкой...

Дед у дяди Шуры развеселый был, и не пустобрех, и не сильно отчаянная головушка, а одно емкое слово – прозвище прилило к нему: «Ботало». Плоты с хлебом богачей Демидовых по большой воде до Архангельска гонял. Раз пристали к берегу – вешняя вода-то по ступеньки крыльца поднялась, баба, собой что печь битая, половики полошет. Стоит в воде, сарафан подоткнула, любота как намахивает. Силища в ней на расстоянии чуется. Ботало смотрел – смотрел, добро свое достает и орет: «Гей, баба, ангел шестикрылый, видела ли такой кусок мяса?» Не промах баба – как Ботало жалел, что не ему в жены досталась, развернулась, заголила зад и кричит: «В эком горшке и кость уприёт!» Сказывают, домой Ботало воротился молчаливым и трезвым. И даже вовсе хмельное употреблять зарок дал. Всю жизнь Ботала тянуло на огонь – баб, а судьба выровняла по-своему: на свадьбе подсунули

сестру невесты. Косоглазая немного, чуток хроменькая, мухи с себя не сгонит, спать любила. Теща была хитрее бабушки – задворенки, знала, что «сову не сунуть», не подкузьмить – с рук не сплавить, и подменила. Сначала вывели настоящую невесту, насмотренную, всем показали, в головодце, шаль с кистями до подбородка, по прибору обвели – хораша-а! Всем взяла! И в куть, а в кути быстренько переодели. Настоящая-то невеста хихикала, из-за косяка выглядывая, мол, ловко, мы с тобой, мама, облапошили женишку и за стол сестрицу затолкали. Понимала ли она, что творит что-то непоправимое, разрушительное для себя, трудно сказать. Ботало не в меру весел, горлопанит всю свадьбу, костистое лошадиное лицо его обрело милое, озабоченное выражение. Невеста сидит воробышком испуганным, не шелохнется, дышать боится, шаль опустила. Дома распеленали – матерь Божия! чуть родимец не хватил – Ботало ты Ботало, нет бы заглянуть под шаль, то потешал народ баснями, а над самим – то как потешились... Которую девку рассматривал Ботало, та мужику вдовому по прозвищу Кана досталась. Каной прежде звали четверть с водкой, и всё, отсмеялась, проказница. Года через два после свадьбы подкараулил ее Ботало, не доставшуюся, в ноги пал, просил бросить все и идти с ним в Сибирь. Ох, и ревела, и проклинала себя да мать, да в церкви венчаны, разве семью бросишь? «Не наревишься за столом, наревишься за углом». Ботало языком трепаться горазд был, да из рук ничего не выпустил. Справно жил. Раньше в карты до третьих петухов играли. Ботало раз до того доигрался, в одних кальсонах остался. И из избы не выпускают, мол, неси выкуп. Пришла женушка, головку икосила – тулуп принесла. Ботало хохочет: «А не корову и проиграл!» Идут домой в обнимку. Ботало тулуп распустил, чушь какую-то про Христа, ходившего по водам несет, иди, велит жене, строевым шагом. «Ать – два! Ать – два! Равнение на грудь четвёртого! Глаза твои исправим!»

Отца у дяди Шуры Сиситом звали. Сердитый, значит. Мало говорил, больше намеками объяснялся, с женой – зыком. Та, бедная, с одного боку на него глянет, и с другого – чего надо? Бровями шевельнет – одно делай, носом швыркнет другое, заерзal на лавке – жди матюков. Ставит жена чашку на стол, он чашку под порог кидает: не то подаешь! «Васильушко-о, Васильушко-о» – высаживается жена, а Васильушко темнее тучи.

Клады искал, кто-то надоумил его, мол, в ночь на Ивана Купалу видели в таком-то месте под кривой берёзой огонек. Трое суток лопату из рук не выпускал, много земли переворочал. «В ком добра нет, в том и

правды мало» – усталый домой вертается. А жена лисит: «Покажи, Васильюшко, хоть одну старинную денежку, одним бы глазком только... Сисит как двинет ей кулаком под глаз: «раз просила»!

Пошли на сенокос, ложки – чашки в пестере, пестерь на Сисите. Стоял он на улице, курил, жену ждал, надоело, идет в избу, а жена на лавке растелесилась, вздрогнула, значит, и приохотилось мужику... Мать – покойница чуток хроменькая, немного косоглазая, бежит мимо (под старость разбегалась) запинается, как увидела, так зрачки глаз её чуть на место не встали. Руками всплескивает: «Вот дурак – то, вот дурак – то! Хоть бы пестерь снял, всю посуду перебил!».

На войну пошел, младшему Шурке наказывает: «Ну, будь на хозяйстве, матке воли много не давай». Шурке восьмой год шел. Вертается с фронта – ни одной царапины, орден и медаль «За отвагу» на груди сияют. Шурка за четыре года вытянулся. Первым делом Шурке допрос учинил: «Чужие мужики ходили?» «Что ты, тятька! Матка вечером нас перекрестит, скажет: «Спите, детки, с Богом, я с Христосом», только... баушка Богом просила тебе не говорить: штаны у Христоса как у бригадира Санка Балуёнка, полосатые, и на левой штанине дёгтем буква «Сы». Того дня отец мать не тронул, сопел да глазами молнии метал, на другой день как ушли ребятишки из дома, он стал разведку вести с пристрастием, в каких штанах бригадир щеголяет, еще и буква «Сы» дёгтем подмазана. Напрасно жена крутилась, мол, Санка с роду Бескурым зовут, какой из Санка Сереброва мужик. «Это давно ли Балуёнки Бескурыми стали? А? Отвечай, вражина!» Крепко изменщицу вожжами исполосовал. Вообще с ней говорить перестал, а спать определил в клети. Чуть свет дверь в клеть пинком отворяет и свищет эдаким разбойником: подъём! И отбой ко сну свистом подавал. Портянки грязные – бьёт портянками жену по лицу. Шурка приползет к матери, жалко ему мать, а как раньше вихры на голове не погладит. Холодно спать в клети, батька в избе под шубой хранил, а поспи - ко на сене? Мать слезами умывается, с Шуркой не говорит, того гляди оплеуху даст; ох и аукнулись Шурке полосатые штаны! Сколько он горя через полосы принял. Братьям обнова – Шурке обноски. Братьям сахарку по кусочку, Шурке крошки, и усмехается мать зло. Собирает в школу, братьям по куску житника, Шурке луковицу. Да луковку малюсенькую положит, малюсенькие луковки полезнее больших луковиц. Отцу нажаловался, тот сказал матери: «Еще ты над Шуркой поизмывайся! Демобилизую в одной нательной рубахе!» И рукой на двери показал. Смягчилась мать, хотя постоянно напоминала Шурке, что не заслуживает он доброго сло-

ва. «Ты, Шура, батьку каждый день докладывай: чем кормила тебя матка шлюха, заработал ли ты еду и так далее».

Раньше навоз со скотных дворов вывозили ближе к лету, Школьники да бабы со старухами. До потолка за зиму накопят, с одного краю поберут, с другого, а как середину вывозить? И гонят первую лошадь через горы высокие, она дорогу наминает. Мать и говорит Шурке: «Ты у нас сметливый, догадливый, давай наперёд». С намеком говорит, авось дугой по лбу от запряжья прилетит. Гонит Шурка лошадь, молится, хоть бы ось из подушек не выскочила, тогда колеса придется добывать из жижи всей ордой. Лошадь хранил, ноги из навоза вытащить не может, Шурка на спине как ястребок распластался... Бабы возы возчикам малолетним старались накидать поменьше, а доходит очередь до Шурки она и давай выговаривать: «Шура у нас пойдёт служить в милицию, зачем к обману приваживать? Кидайте, кидайте». И сама, чем больше пласти, тот и поднимает.

Уважать старших раньше учили примерно. Все зовут бригадира «Санко», и Шурка в ту же дудку: «Санко, дай оброть, рвань одна у меня, другим-то даёшь». Бригадир подумал, почесал кончик хрящеватого носу, махнул рукой: пошли. Идут за конюшню, Шурка на ус мотает: вот где у Санка Балуёнка попрятушка, ужо я на другой раз... Бригадир крапиву рвет, хватает Шурку за тонкую шейку, другой рукой штанишки сдернул, и давай стегать. «Санко, баешь? Кому-то и «Санко», кому — то Балуёнок, а я Серебров Александр Васильевич! Запомнил, шкет дохлый?», отпустил; крепкую занозу под сердцем оставил. Шурка со слезами грозит кулаком издали: «Скажу батьку, он на войне и не такие головы немцам отрывал!» Не сказал, скажи — отец уж точно добавки пропишет. Шурка с отцом хлеб на жнейке жали, Шурка лошадей гонял, кнут у отца длинный, до первой лошади доставал. Бывало, и Шуркина спина его принимала...

Как отца в тюрьму упрыгали, Шурка волю почуял, а бригадир... Гад! опять заходил в полосатых штанах около ихнего дома. Только буква «Сы» с портов исчезла, видно вытравил чем-то. Шурка как-то подкрался к зимовке — мать Санка Балуёнка, Матрёна, в ней жила. Смотрит, прислонив глаз к стеклу рамы, как старуха в исподней рубахе вшей бьет, сама голая перед лампой — мигалушкой стоит. Шурка осторожно подлисточек в раме вынул, зачерпнул ковш воды из ушата вместе с головастиками и окатил старуху. Матрена так кричала, что народ подумал: пожар! Или: приехали бородатые мужики вышку геофизическую ставить. Лошади у них тяжеловозы, копыта по человеческой голове,

мужики консервы едят диковинные. Никто в деревне до этого банки из-под консервов не видал, надо же... Немецкие?! Говорили, вышку для того ставят, чтоб аэропланам летать, не блудить; все лето мужики ту вышку поднимали. Шурка и другие ребята банками железными около них промышляли. Смастерили мужики вышку, и давай ребята на вышку ползать. Высотища, красотища!! Снизу смотришь – облака за барабанчик цепляются, до барабанчика выползешь, а ветер и свистит в том барабанчике. Облака сверху на тебя как валятся, мило дело кричать на самом верху, потом одежду с себя по ветру опускать и голышом опускать вниз. Раз парни, которые постарше, Шурку смолой вымазали и рубаху со штанами одели. Понятное дело, мать против себя ступила, каким – то образом ребят подбила на подлость. А потом, вымазанного, нахлестала. Голову зажала между колен и выпорола, Шурка молчал, только зубами скрипел. Скорее всего, за полосатые штаны бригадирские рассчитывался...

За отца мстил Шурка Санку – бригадиру. На всякие пакости шёл. Один раз у Балуёнковых баран в колодец упал, домашние упросили Шурку сползать, накинуть на рога барана верёвку, он и сполз, привязал за заднюю ногу. Так с вывернутой ногой и вытащили на свет божий. Санко мордыставил, так Шурка подсмотрит, что бригадир от реки уходит, морды вытащит на берег, дыры проломает и в воду кинет: ловись рыбка большая и малая. А как отец в тюрьму попал? В голодный сорок восьмой год председатель, Ловгин Африканович, насобирал ребят, кои покрепче, масло зимой на станцию везти. Мужиков - то нет, на войне остались побитые, а начальники сверху одно: давай! Не близко, двести верст. Старшим Сисит был направлен. Пристали на постой в одной деревне. Баба вдовая, мужик на войне сгинул, ребят груда, в избе нужда да тараканы. Ребята синюшные, простуженные, одеть – обуть нечего. На столе зобенька мерзлой куглины (шелуха льняная) рассыпана: вот отойдёт куглина, заварит её мать кипятком – ешьте, больше нечего в рот положить. Видит такую нищету Сисит, сидит на лавке, погруженный в пучину неподдельного страдания, душа его должно быть пребывала в глубоком противоречии с законом. Хозяйка куда - то спешила да остановилась перед ним, стоит в тревожном ожидании, руки под фартук сунула. С какой-то долей раздражительности глянул на нее Сисит, быстро встал и пошел на улицу. Возвращается с ящиком масла, взял у хозяйки кирпич, очертил палочкой и вырезал кусище размером с кирпич. Кирпич в ящик затолкал, место забил как было; раньше в тюрьму на горсть колосков садили лет на десять, а тут столько масла украдал у

государства!... Все ели, остатки Сисит хозяйке отдал. На станции, куда масло сдавать надо было, заглавным кладовщиком однорукий мужик был. Фронтовик бывший. На весах прикинул – полный «аб гемахт!» Домой едут, керосин в бочках в МТС везут. В той деревне, где масло Сисит украл, обоз с мясом стоит, на дровнях туши коровьи. Сисит никого не спрашивая, в наглую, четвертину туши оттяпал топором, на куски порубил, говорит хозяйке: «Разнеси по домам, пускай люди хоть раз побудет людьми. Хватит, поели куглины да хвои!». Поели... дома Сисита уже товарищи из органов поджидают; рад был Санко Балуёнок! Как павлин разоделся, сапоги хромовые в восемь складок наваксил, гоголем ходит, голову выше ветру несёт, и своя баба даром, и детишки не в счет: к Шуркиной матери курс правит. Чувствовал, что Сиситу воли не видать, так и вышло...

После того, как отца упекли в тюрьму, ранней весной, застрияла под деревней эмтэсовская полуторка. Санко Балуёнок и велит Шурке запрягать Карчика в конскую телегу да машину вытащить. Послушался Шурка: с некоторых пор стало им владеть странное суеверие, будто в Санка от отца перешла нечистая сила и бесполезно с ней бороться, что над всем миром коммунисты верх держат. Шурка запряг Карчика в телегу – тяжеловоз, от цыган выменянный, едет. Вот, думу думает, машина железная, сильная да в грязи застрияла, а Карчик наш не застрянет, вытащит её. Шофер полуторки подумал и велит выпрягать из телеги. За гужи хомута веревками привязались к буксирным крюкам. Поднатужился Карчик, с боку на бок покачался, упёрся и попёр. Шофер от радости сигнал клаксона выдал с переборами, Карчик от испуга подпрыгнул, наземь упал, захрапел и помер. Санко к председателю, мол, самовольно Шурка лошадь взял. Председателем тогда был Ловгин Африканович, контуженный на войне. Голова у него тряслась, челюсти лязгали, он на крик: «Карчик?! Карчик сдох? Это же броня маршала Ворошилова! Да я тебя!..» На правлении долго вопрос решали, приговорили Санку выплатить за Карчика полную стоимость. Санко Шурку без соли съесть готов. Заартчился, к прокурору ночью в райцентр наведался, бараном кланялся. Тем самым, что в колодце побывал. Прихрамывал баан, колодец, видимо, сказывался. Благо дело продналог в тот год был выполнен по мясу. Прокурор страху не ведал, мзду брал сырым и печёным, сам – то баана не видел, жена животину в хлев пускала. Ладно, сказал миролюбиво, не военное время, сдох так и сдох, спишем на убытки. Хлев у прокурора был одно название, что хлев, так себе, хибарка на семи ветрах. Баан в чужом месте сдурел, дверь вы-

был и ходу, прихрамывая, на родину. На общем колхозном собрании прокурор встречает Санку Балуёнка – от райкома партии толкачём был направлен в колхоз, за воротник сгрёб: «А-а, рожа черная! Козла подсунул?» «Помилуйте, товарищ упал намоченный! – изворачивается Санко, – У барана и голова баранья, что я ему наказывал двери вышибать?» «Наказывал он! Какой я тебе упал намоченный?!» Оказывается, жена прокурора в сельском хозяйстве ориентировалась скверно, городская была. Муж спросил, какой масти баран был, она и ответила, мол, черной, с большущими рогами и от него пахнет гадостью. Прокурор обиду не снёс, присудил Санку шесть месяцев принудработ. Скорее всего за «упал намоченного». То – то на деревне было разговоров, смеху да подковырок. А Логвин Африканович ещё и тюрьмой пригрозил, чтобы партию не высмеивал.

Зимние сумерки не терпят суеты. Что найдёшь приятней для ума, чем погрузиться в прожитые годы? И на какие только взгорки душа – истоминка не поднимется, в какие только низины не заглянет, с кем повстречается, о ком всплакнёт?

Усни, могучее сознание!

Прясновик (картофельный сочень со сметаной)

Богато скакать по следам прожитых лет: раньше и угоры были круче, и девки сладше, и небеса горели от зноя, и народ спать ложился в обнимку с совестью, долгом, и просыпался под звёздными берегами.

Прощальной дымкой повито местное буево. Через глухое кладбище раньше на тракторах не ездили, берегли святость умерших.

Баба у Прясновика мастерица была рыбу ловить. Подоткнёт подол сарафана, забредёт в реку, руки под хорь подсунет, будто гладит там чего-то на дне. И одного за другим налимов на берег мечет. Налимы большие, с аршин, пегие. Вроде того году Митька Хабазёнок восемь лосей в петли удавил. Прясновик двух лосёньков привёл. Когда один лось вырос, он пахал на нём. Сказывают, машисто лось ходил. Прясновик вприпрыжку за сохой бегал. Хомут с того лося в школьном музее долго хранился, разъёмный, – иначе как его через рога оденешь. Жадность Митьку сгубила, видно за лосей наказанье понёс. Жена его, Татьяна, беременная была. Пошла по коров, на солнышке разморилась и прилегла на тропку. После обеда. Потом как сокрушилась... «Будто меня сухим ветром опалило, будто кто перепрыгнул через меня. Схрю-

кало, схочотало, я вскочила взарях – инеем осыпало спину. Володя и родился». Дурачок был. Сказывали, сидит под черемухой обросший, немытый и лает по – собачьи. Не скоро его Бог приbral. Как родила Татьяна дурачка, так переменилась. В худшую сторону. В непонятной обиде на своё горе, всё кругом для неё чужим стало. Удел женщины семье светить, семью обогревать, нажитым дорожить, она потёмки в дом потащила. Чёрному ворота отворила. Иконы на божнице ликом к стене поворотила. Ворожит, колдует, отвороты, привороты. Ей тесно от беды – пускай всем будет тесно. И тем тяготела. Народ и сторонился её, и страшился. Будто пришёл раз к ней степенный мужик с Угольного, богатей первейший, скажи, чего лошадей в конюшню загнать не могу. Татьяна бобы раскинула и отвечает: «Кто-то завидущий горсть гороху в отвод кинул. Собери все горошины, кони сами забегут». Мужик: «Неужели моей должности позавидовал кто? Смех на палочке. Да кто их соберет, раздавленных да втоптанных?» «А ты на коленках ползай, сбирай!». Вот как ворожила, дескать слушай, что говорю, то хуже будет. Год от году лицом чернела, морщины на лице что борозды, взгляд тяжёлый. Дыму без огня не бывает: чёрные тараканы у неё в услужении были. Отопками у нас тех тараканов зовут. Подполье откроет и команда: «Сенька! Тишка да Гришка! Колупай с братом! Всю дорогу в пыль исхлещите, потерю мне найдите. Кто украл? Где лежит?» И масло растительное в блюдечке тараканам за работу поставит.

Прясновик ещё холостым был. Попивал в аппетит, пока шапка не слетит. Ухватистый, до работы жадный. Что ему прикачнуло девку силой из другой волости умыкнуть – загадка. Выбрал момент, когда девки кудель пряли, песни пели, потом по домам расходились, облюбованную красотку в охапку смял, в розвальни затолкал и ходу. Родные братья девки почти у самого дома Прясновика настигли, ох и наломали бока! Прясновик долго кровью кашлял. И надо же, судьба – через год опять на голос удачи капризной к той же девке сватом поехал, и ведь женился. Знать теплинку девка заронила в сердце. Уж такая хорошая баба у Прясновика была, что её прозвали Золотой. Бабы на любой работе её берегли. Ну-ко, скажут, отойди – полвремени тяжесть-то хватать. Никому словом не досадила, одних крестников у неё было сорок али больше. Как обженился Прясновик, так хмельного до смерти в рот не брал. Может, Золотая чего пошептала, может, сам образумился, а может... и такая история.

Пошли они с братом Федором лесовать. Федор по натуре нервный, обидчивый. Сидят вечером в охотничьей избушке кипяток зверобой-

ный пьют. Как день прошёл – чего зря из пустого в порожнее переливать, прошёл и прошёл. Как заскулит собака за стеной, как заскулит, будто волки избушку обложили. Прясновик велит Федору глянуть. Тот вышел. Прясновик никакого трепета не испытывал, с пелёнок по лесу шастал, но что – то заставило его внимательно оглядеться, ища причину внутреннего волнения. За оконцем ночь чистая, звездами вышитая, где-то далеко будто бубенчики звякают.

Слышит Прясновик из-за печи голос: «Брось хлеба краюху». Отropь его взяла. А голос настойчивее: «Брось!» Схватил из пестеря каравай ржаной да наотмашь за печку кинул. Федор заходит, пожимает плечами, и Прясновик слова с губ не спустил. Утром на охоту пошли. Прясновик под каким-то предлогом воротился. В избушке баба дите махонькое в корыте моет, лицо у нее будто солнца диск вечерний, кажется, из раскаленных пор щек да носа кровь брызнет. Оскалила четыре острых и белых зуба, Прясновика как укусить хочет, говорит: «Брата не привечай боле, темная у него душа, подлая, месяц нам печку потопи, не пожалеешь». Отправил Прясновик брата домой, дескать, невезучий ты, да и в избенке тесно, месяц как велено печку топил, и стал ему лес вовсе домом родным. Бывало зобеньку клюквы берет, а пестерь уж кто-то набрал до него, всклень насыпано, домой прет, ноши не чует. Душа у Федора точно оказалась подлая, завидно ему, что Пряновику зверь сам в руки идет, захотел он брата удалью перебить, да удаль в нем появлялась после пары стаканов водки. Присосался он к бабе Гришки Магая. Баба у Магая стерва еще та была, на передок слабенькая, завели они шашни. У Гришки мельница была, жил на широкую ногу. Раз Гришка Магай в лесу плахи тесал. Федор подкрался и топориком Магая приласкал, тело под выскирь спрятал. Как мельницей стал заправлять, попивать с достатку начал, куражиться, Магаиху сугонять. Бахвалился, мол, Магаиха у меня как крыса в подполье живет, а я молодок к ночи вожу. Страшный зверь баба обиженная, она обид не прощает, особо если честь ее задета. Поведала про злодейство уряднику – Федора в Сибирь. Федор с этапа сбег, домой пришел, у Прясновика в ногах ваялся, тот жить к себе не пустил. Вот идет Прясновик лесом, баба, лицом красная, навстречу идет, пригнись, велела, на поворотке. Сказала и пропала, а ветер полосой прошуршал, верхинный ветер. Стала тропка петельку вязать, осенило Прясновика, – бесформенная и зыбкая мысль о смерти проплыла в сознании, как ослабел от того и запнулся о корень – выползок. Чмокнула пуля сосну рядом с головой, потом выстрел услышал. Теперь бесформенность в сознании обрела отчетливую ясность,

с лихорадочной энергией погнался за убегающим стрелком. Догнал, им брат оказался. Думал удавить в ярости, а потом иную ему смерть уговаривал. Приволок к мельнице покойного Магая, на берегу жернов лежал, не успел Магай в камне дыру пробить под вал. Вот Прясновик привязал брата своего кровного и опустил жернов в реку; сам судил, сам и приговор исполнил. Магаиха — дура! «Любила твоего брата, теперь тебя любить стану, сегодня же приходи вечерком, или уряднику скажу». Прясновик грязь с дороги схватил и рот ей поганый замазал, настращал, мол, только гавкни, опушу в реку рядом с полюбовником твоим. И приснилось Прясновику, что он мельнице Магая нарушил, а свою поставил выше по течению с версту. Затужил: много силушки вложишь, пока жернова свою песню запоют. Не сон то был, догадался, что в избушку лесную его зовут; пришел, сел у огонька и ждет. Едет на белой кобыле парень ладный, рубаха на нем кумачевая, сапоги сафьяновые, седло богатое серебром и медью оправлено. Остановился, здоровается. «Что тужишь, крестный?» Прясновик испытал ужасное умственное перевозбуждение. «Ладно, погладь мою кобылу, авось полегчает». Делать нечего, погладил. «Ну, — смеется парень, — прибыло смелости, крестный?» И почуял Прясновик, что стал он вровень с ангелом церковного портала: сделаю! Поставил Прясновик мельницу, и поехали к нему помольцы со всей волости, мельница и сгубила Прясновику. Его первого в волости пролетарии нищие раздернули, детишек не пожалели, всем семейством на Печеру отправили. Уж как там было, но Золотую с двумя малыми детишками воротили с дороги, а Прясновика конвоир штыком заколол: заартачился. Растащили у Прясновика хозяйство, воротилась Золотая — голые стены, и стены бы увезли, задержкись недели на две. Опамяталися народ, унесенное стали возвращать. Но чью — нельзя кулакам потрафлять! Боже сохрани на пролетария большевика нарваться, кто дугу, кто шубейку под черемухи сунет, опять зажила семья. Скупо, бедно, а в бедноте жить проще: как вечер, бабы и потянулись с прялками к Золотой, и попоют, и поревут, и разговоров наслушаются.

Лесная делянка

Генка Столяров из армии вернулся. Не успел оглядеться, дом, заявляет председателю колхоза, заводить стану, то скоро из батьковой избы на дорогу выеду. Председатель, понятное дело, рад. Да я, обещается, и трактор дам, и время весной струйку срубить дам, и даже невесту со-

сватаю. Идет Генка к дяде Шуре: помоги, будь за старшего. Стойка дело хорошее, манящее, завораживающее. Ты еще избы не поставил, а в мыслях в красном углу сидишь, хозяин! Жена перед тобой убегала, теща на божницу посадить готова, карапуз на лошадке качается и поет что – то, кошка на лавке растянулась, солнце венчает обильные всходы твоих трудов... Дух такой убаюкивающий, радостный. У Генки бензопила «Дружба» что зверь рычит, сам он до работы жадный, с таким напарником любо в морозный день. Утром пилу в розвальни, сами в тулупы, поехали лес клеймить. В госфонд, километров за шестнадцать, и водочки прихватили. «Водку не жалей, силу жалей, работника береги и уважай» – наставляет на ум дядя Шура. Много народа с разных деревень собралось. Райцентровские мужики на машине приехали. Лесник, собой, что медведь рослый, велит Генке да дяде Шуре затески делать на облюбованных лесинах. Сам сзади ковыляет, в поминальник записывает. Без циркуля, на глаз диаметр видит: «36..38 – бери, бери и 50 – пол и потолок». Наклеймили, к костру вернулись. Сидит у костра мужичек в пальто, выбрит чисто, сразу видно, что не колхозник, и чего – то в блокнот строчит. Дядя Шура многозначительно подмигивает Генке, шепчет: «Знаю я их, собак. Кружку ему». Сам сало режет, Генка кружку водки с верхом наливает, подает мужику. Мужик несколько раз подносил кружку ко рту. Видимо насмеливался, как-то странно пожевал губами и хлобыстнул полную кружку водки. Сала ломтик понюхал и отложил, на второй заход кружку подержал, пить не стал, говорит: «Сегодня – ша». Пошли дядя Шура с Генкой пока светло свои лесины с корня валить. Заводили, заводили пилу – размахнувшись да о сосну! – не заводится. И лесник дергал, трос стартера выдернул. Кое как (мороз не шуточный) трос приладили к барабанчику. К костру пришли, лежит мужик в пальто лицом в лапы сунулся. Блокнот рядом. «Не сын прокурора? Чего это пишет, кляузу никак?», – спрашивает лесника дядя Шура. «Валька Отрого, в грузчиках на хлебозаводе ходит», – смеётся лесник. Едут домой Генка с дядей Шурой, тот сокрушается: «Надо же, обмишулился... Знал я прежде одного прокурора, чтоб ему икнулось... И «Дружба»... Вот иной раз так не повезет, что знать бы – ноги с печи не опустил. Еще какая-то чертовщина снилась, вот оно и...» Приехали, выгружаются у Генки. «А дерни для интересу еще разок», – говорит дядя Шура. Генка дернул, взревела бензопила. Усталая кобыла как рванулась от неожиданности и влетела в проход между обставленными тычинами хмельника и поленницей дров. Так и выпрягали ее на месте. Генка розвальни на себе на конюшню стащил. Сидят работники за сто-

лом, раскраснелись, дядя Шура рассуждает: «И чего он там записывал?..» «Поэт должно быть. Про природу, про лес. Нанюхался свежего воздуха, и понесло с рифмами», – отвечает Генка. «Точно, Генка! Он же на Рубцова похож, на поэта! И пальтишко с чужого плеча, и сам грузчик. В России башковитые люди с пеленок горе влачат, через трудности идут, идут да идут, как к могиле выйдут, все и ахнут: проворонили, такой талант был. Давай, споем про Кольку.

В этой деревне огни не погашены.

Ты мне тоску не пророчь!

Светлыми звездами нежно украшена

Тихая зимняя ночь.

Мешок сахарного песку

Приходит дядя Шура в местную лавку – у нас до сих пор на магазине висит железка, прибитая купцом Иваном Кирилловичем «Лавка», подает продавцу Проталионовне талончик на сахарный песок. Талончик не поддельный какой, любовью обласканный, не просроченный, и сыплет ему Проталионовна по 600 граммов на живую душу, – такова норма была. В качестве продукта усомнился покупатель. Рассыпал он пайку на газете «Красный Север» – печатному слову у нас крепко верили, прокуренным ногтем ворошил кучу. «Изюмец-то, Проталионовна, премиальный али так, довесок?» Проталионовна из себя будто глыба, от ледника отколовшаяся. В бога не верует, по жизни придерживается теории Дарвина, несколько измененной временем: колхозник есть подвид бурого медведя. Атаман баба! Еще ее прозывают «конь с яйцами». Проталионовна соловья – разбойника из дупла голой ручищей достанет. «Понимал бы в колбасных обрезках, тоже мне, голый сапиенс», – фыркнула Проталионовна. «Пигмейский должно быть изюмец – то, – невозмутимо ворошил сахарный песок дядя Шура. – Пигмеи народ махонький, их Миклухо – Маклай вывел на каких-то островах. А по запаху... Рассейский запашок». «Иди, пигмей... Ну, мышка пробежала, ну, хвостиком лягнула, трагедию из того делать надо? Ты не подклинивай, Александр да Васильевич! Мыши твари башковитые, они из этой... – Ручища Проталионовны махнулась в историческую даль – из эпохи мамонтов, если хочешь знать». «Отдай-ко мне талон обратно, а мышь себе возьми». «Ишь он какой умный! Да ты! – Раскраснелась Проталионовна и гирю пятифунтовую из – под прилавка вынимает, – до чего же народ наглый пошел!» «А на хрен мне твой песок нужен!» «Какой

он мой?! Ты вари черепашкой-то! Фидель нам с Кубы такой гонит». «Ты мне бородатого Фиделя не приплетай! Фидель! От Фиделя сахар бензином воняет, а этот... И не Фиделем, и не Фиделихой!» Распалились дядя Шура с Проталионовной. Она ему про социалистическую интеграцию, про валютную яму, про любимого товарища Горбачёва, он ей фактами. Она его обозвала застойным идиотом, он ей пожелал век одной куковать, — мужика под свою стать завести хочет, да мужики такой громадины издали боятся, со сна ногу накинет, и все, задавила.

Решил дядя Шура до Москвы сгонять. Неужели и в Москве сахару нет?

В вагоне напротив дяди Шуры устроились две наштукатуренные дамочки, на курорт едут, щебетуньи, сколько у них разговоров про моря, про океаны, про ванны и грязи. Одна другой фотокарточки показывает, и смеются, заливаются. На дядю Шуру ноль внимания. Едет какой — то... Должно быть освобожденный из лагеря. В телогрейке, в сапогах резиновых, небритый. «А вот этот... Вот, рыжий, как танцует, как танцует!.. А эта заперлась с этим в своем номере дня четыре не выходили. Вышла на балкон и удивляется: «Здесь даже море есть?»

«А мы своих баб на курорты не пускаем, — говорит дядя Шура, — мы гончим кобелям не доверяем, сами дома топчем». Дамочки вспыхнули, фотокарточки попрятали, долго сидели надувшись. Черненькая с длинным носом не вытерпела, уколола дядю Шуру: «Кастрат замшелый». Дядя Шура промолчал, ничего не сказал. Бабе цена грош, да дух от нее хорош — отмолви, будет издеваться до самой Москвы.

В Москве у дяди Шуры племянник живет, Витюня. Или зубы рвет, или аборты делает, но по этой части, по удалению. Дядя Шура прямиком к нему. В рюкзаке у него сало, картошка вареная, водочки бутылочка. Усмотрел, что в поезде свои законы, водочкой торгают без всяких талонов. Хлеб свой, хоть у попа стой, квартиру нашел. Витюня на службе. Стал он соседей Витюниных тормошить, мол, пустите время скоротать. Ох, и недоверчив московский люд! Дверь отворят на ширину лезвия ножа и выспрашивают, и выспрашивают, чей да откуда, должно быть опасаются воров и шпионов. Старушка, по голосу сумасшедшая Баба Яга, минут десять дядю Шуру через глазок изучала. Чувствует дядя Шура ее сопение с другой стороны, бухтит, мол, я снежный человек. «Да ну вас всех в болото», — сказал старухе. На лестничной площадке рядом с батареей сапоги снял, портняки на батарею развесил, сидит, водочку попивает, сальцом закусывает. Надо сказать, что на портняки он пустил мешок, разорвал вдоль, — самое то! Дешево, сер-

дито и нога не疼еет. Нашелся мужичек дошлый, позвонил Витюне, мол, тебя бывший зэк спрашивает, сейчас сидит на площадке и водку жрет, на батарее портняки, на одной черной краской или дегтем написано «К-з Му-ть.» Витюня ему в ответ: «Не звони в милицию! Это мой дядя!» Москва Москвой, а тоска, поди-ко, по родной сторонушке, по колхозу «Мужицкий путь» осталась!

Витюня и говорит мол, отдохни, с балкона на Москву посмотри, а из квартирьи не выходи, вляпашься во что-нибудь. Разве Москву с балкона увидишь? Её милую, обшарить надо. И подался к Ильичу, к гегемону пролетарскому, очередь занял, все чин — чинарем. Передо ним два негра стоят в белоснежных костюмах, знать из страны людоедской. Стоит. У Витюни брюхо набил крепко, колбасой дядю кормили. И захотелось по большой нужде. Туда — сюда, а сортира нет. Живот урчит, поджимает колбаса — то. Старушка прогуливается с собачкой, видит, что нездешний мужик брюхом страдает, надоумила: вон пойдите туда, хозяйке рублик и... Точно сказала, не зря говорят, язык до Киева доведет. Чистота, мужики, прямо ангельская. Из кабинки выйдет, по залу походит и опять на горшок. Подваливает к нему хозяйка сортира. Дьявол в сарафане, не баба. «Понос что ли?» «Да нет, говорит, рубль-то заплатил, а продукции не выходит, нельзя ли рублик обратно получить?» Она сгребла за ухо, на улицу вывела, а на улице милиционер стоит, такая верзила... Еще и рюкзак верзила потряс, думает, мало ли что, вдруг бомба спрятана. Обратно к Ильичу, негров нет. Не привыкли мы без очереди, хочется по справедливости: идёт вдоль рядов, высматривает негров. «Но пассаран!» — не отвечают. «Куба — да, янки — нет!» — молчит народ. «Сахар! Фидель! Сахар!» Стали от него сторониться. К одному косоглазому туристу подошёл, заговорить попытался. Тут подходят к нему два товарища в костюмчиках черненьких и вежливо так отжимают. Отжали, руки заломили и только задница треснула — в кузов воронка забросили, на окнах решетки. Привезли куда — то в помещение, там девять сытых, не изработавшихся мужиков молча дядю Шуру изучать стали. Главное, не говорят ничего. Неловко, пали на ум наркомы Ежов да Берия. Потом писатель этот Солженицын: «Беги, беги, пуля догонит, а не догонит — сапоги сниму сам догоню». Приходит еще один, худенький, узкоплечий, пальтишко на нем болтается. Про себя дядя Шура смекает, что этот худой в услужении у сытых, ан нет, худой за главаря! «Бедно живете?» — спрашивает. «Хуже немчуры битой», — режет правду — матку дядя Шура. А, думает, была — не была — повидала. — Вот, — полой ватника трясёт, — с председателя снял. Случись

кому без меня жениться, иди в сельсовет голым сапиенсом. Фуфайка, печать да переходящее красное знамя от обкома партии – все богатство колхозное». «При Сталине как жили?» «Дорогой ты наш! Бедно жили, жмых лакомством был, только были мы как патроны в обойме, всяч человек это выстрел. Всяк вякал когда его спросят. У нас только у жеребца по кличке Вольтер паспорт есть да у председателя сельсовета. А наш председатель колхоза на выставку ВДНХ по паспорту Вольтера ездил. Просил председателя: дай паспорт, загребут органы – труба, так не дал.» Худой походил-во, в кино видели Дзержинского? И повезли дядю Шуру на продуктовый склад. Ох, и сильна Москва, мужики! И богата! Чего только нет, полки от товаров ломятся, глаза разбежались; навалили на горб мешок сахарного песку, и велит узкоплечий товарищ «рвать отсюда когти!».

И дорогу в Москву забыть!

Радиоприёмник.

Открывается сезон осенней охоты. Кто в милиции пострелять не дурак? Ребята плечистые, на ногу ходкие, все охотники. Кто птицу лихо бьёт, кто на медведя с рогатиной ходит, кто голос тренирует, загонщик, значит. Есть иная масть: стакан водяры прокатит кустарь – одиночка, сидит в засаде и дует в манок сутки.

Поехали ребята кости размять, серых уток пострелять, выпили, как водится, и прилично выпили, сварили уху – килька тоже красная рыба! Утку, дробью начинённую, в кусты бросили. И начали делать пристрелку оружия. Кто фуражку решетит, кто спичечный коробок на спор сшибает. Один незадачливый охотник табельное оружие поселял. Дядя Шура по гри-бы ходил и наткнулся. Сразу в милицию снес, майор рад, еще бы, как да на «верху» дело заведут и скатилась звезда с погона. Для кого начальник милиции волк тамбовский, для дяди Шуры кунак, говоря языком басурманским. Из уважения к майорской звезде пили с главным милиционером района прямо у того в кабинете из ржавой консервной банки, стакан братва утянула. Ну, бьет по плечу майор, как повяжут тебя мои архаровцы, дуй ко мне. Только ко мне! Езжай хоть в дым пьяный, спасу, дам зеленый свет.

От госбезопасности всесильный майор не мог заслонить дядю Шуру, не та ипостась, не те узоры. Купил дядя Шура хороший радиоприемник, заграницу слушает, мужикам деревенским новости пересказывает. Ох, и много заграница про нас знает! У нас не уважают самодеятель-

ность без партийного влияния, кто-то из своих накапал куда следует. Приносит почтальонка повестку, под роспись доставила, с уведомлением, требуют в райком партии. Дядя Шура имел полное право, право труженика, отдавшего много лет колхозу, плюнуть в ту сторону, где гнездился райком партии, но он был послушным гражданином своей великой страны.

Какие-то странные, противоречивые мысли теснились и путались в его голове.

Его приняла молодая женщина, третий секретарь райкома партии. Деликатная чувствительность заставляла её краснеть и стыдиться своих вопросов. Потом дядя Шура узнал, что у неё муж служит в госбезопасности, потому ей было неудобно дублировать мужа и допрашивать взрослого мужика, слушает ли он радио, к кому в гости ходит. И вдруг резко сменила курс, предлагает сотрудничество, мол, осведомители есть в каждом колхозе, им даже платят. Ты, дескать, время от времени являйся к одному товарищу из госбезопасности, чем народ дышит – рассказывай. Дядя Шура недолго пребывал в смятении, вскочил как ошпаренный, кричит: «Не продаюсь! Ишь, нашли Иуду!» Тогда женщина направила его к одному старому еретику – пропагандисту и агитатору времён НЭПа. Сморщеный старичок из славной плеяды воинствующих безбожников, протёр носовым платком очки – велосипед, и наел: пиши, говорит, голубь, кто в вашем сельсовете детишек крестит, кто «ведьмины» письма по почте рассыпает? Почему колокол с часовни на пожарку повесили, когда как тот опиум – колокол надо разбить вдребезги? Дядя Шура туда – сюда, да я и слышал-то один раз, оправдывается, передавали рецепт, из чего варить «запой» для русских мужиков. Мол, и шерсть волчья обязательно, и жёёные мышиные кости… А тут некий веселый бес уселся на плечо дяди Шуры и шепчет в ухо: «Про клад, про клад говори!» Дядя Шура и давай заливать, в каком месте под большой елью большевик Емелька Пугачев котёл рубленого серебра закопал. «Иди отсюда, Емелька», – недовольно сказал безбожник.

Тут в деревне объявился толковый спец, представился фотомастером и парикмахером, попутно ремонтирует радиоаппаратуру. Увидел у дяди Шуры радиоприёмник, загорелся. Я, обещает, одну «регистру» подпаяю к другой, и слышимость будет – закачаешься! И плату запросил малую. С той поры в радиоприёмнике сутками скребёт воинствующий безбожник железной лопатой днище железного самосвала. Иногда дельфины свищут у берегов Калифорнии.

Содержание

ВТЭК	c.3
Вехи	c.8
Военное ремесло	c.13
Выборы звонаря	c.17
Дядя Горбач	c.21
Заяц в ходоках.	c.25
Золотой	c.28
Как Жуков на ярмарку ездил	c.34
Как мы бегали	c.39
Красное ожерелье	c.43
Лев и кролик	c.47
Чья банка сгущенки	c.49
Лесные будни	c.51
Мамаша	c.56
Мамонт	c.61
Про медведя	c.64
Не рой другому яму	c.71
НОТ	c.75
Оборотни	c.80
Окайанный круг	c.82
Откровение	c.87
Отцовский рубль	c.95
Охотничья байка	c.97
Пеструха	c.100
Петух	c.102
Плач Ярославны	c.106
Преступление и наказание	c.109
Раньше жили лучше	c.123
Свой врач	c.128
Сердце за отечество	c.134
Сказка про старого чертаг	c.139
Фонарь	c.147
Дядя Шура	c.151

Станислав Мишнев

«Святая простота»

Сдано в набор 6.05.2015 Подписано в печать 24.05.2015

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,4

Редактор – Быков К.А.

Ответственный за выпуск – Чистякова К.А.

Сверстано и отпечатано в ООО «Б – Принт»

г. Вологда, ул. Беляева, 23. т. (8172) 73-00-21